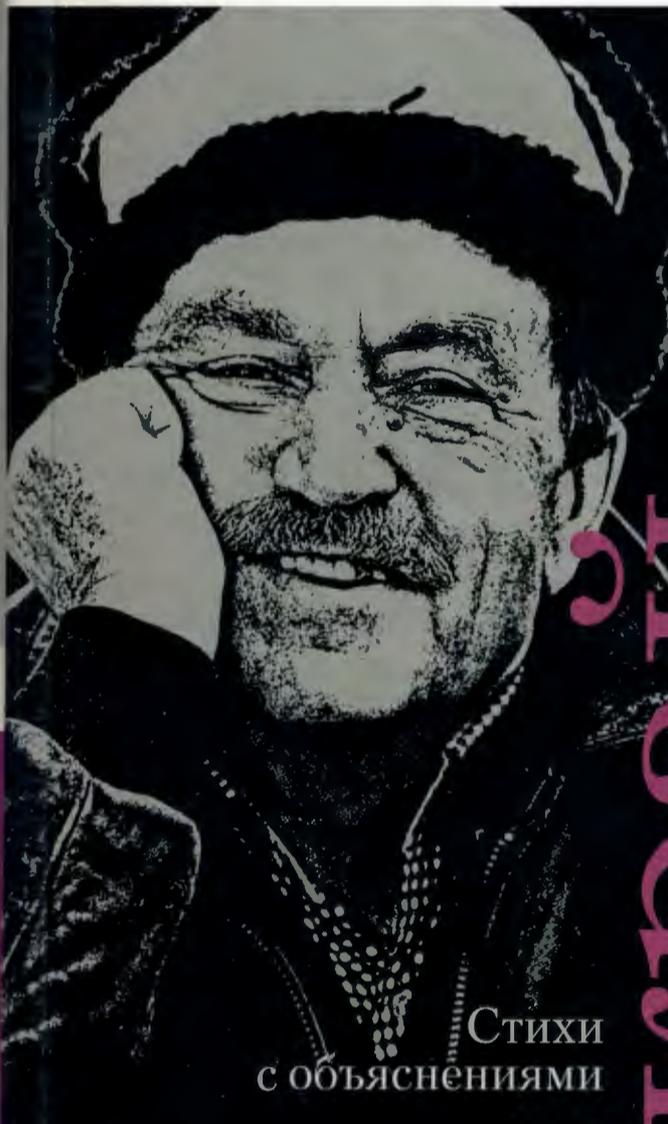


24(2Рос=Рус)6

А42

Василий
АКСЕНОВ



недоступных

край
жизни
сложно

Стихи
с объяснениями

край^{недоступных}
жизням

Василий
АКСЕНОВ

Василий
АКСЕНОВ

недоступных
край
мьям
фудзиям
ф

Стихи
с объяснениями

12 99 48 / 1

Москва
ВАГРИУС



УДК 882-3
ББК 84-4
А 42

Редактор Елена Шубина
Дизайн Веры Костиной

А 42 **Аксенов В.П.**
Край недоступных фудзиям / Василий Аксенов. —
М.: Вагриус, 2007. — 304 с.

ISBN 978-5-9697-0401-5

Известный прозаик Василий Аксенов впервые собрал под одной обложкой свои стихотворные опыты, которые присутствуют почти во всех его романах, и сопроводил их интереснейшими комментариями: о том, как создавалось то или иное произведение, что происходило в это время в стране, мире и его собственной биографии.

УДК 882-3
ББК 84-4

Охраняется Законом РФ об авторском праве

ISBN 978-5-9697-0401-5

© Аксенов В.П., 2007
© Оформление. ЗАО «Издательство «Вагриус», 2007

ЛОВУШКИ РИФМЫ

«Лета шалунью-рифму гонят, / Лета к суровой прозе клонят...» Переиначивая великолепные строки Поэта с двумя глагольными рифмами, иной раз хочется сказать в чей-то, может быть и в собственный, адрес: «Лета идут, как клон за клоном, / Лета к суровой рифме клонят...»

В этой переиначенной фразе, несмотря на легкое ёрничество, импровизатор видит в каждом слове свой особый смысл. Взять, например, слово «лета». Это не просто «годы»; лета летят, улетают, они куда-то, к чему-то клонят и в поисках рифмы на «клонят» рождают каких-то пока неизвестных «клонов». Каждый год жизни хотя бы слегка изменяет человека, и тот становится слегка не похож на себя из предыдущего года, как клон, по идее, чем-то все-таки отличается от оригинала. Так год за годом менялся и Пушкин, вот и потянуло на прозу.

Пушкин не пережил 37-летний рубеж. Часто говорят, что этот возраст таит в себе какого-то притаившегося губителя мужчин-артистов. Вспоминается наш

разговор на эту тему с Генной Шпаликовым, поэтом, бардом, сценаристом кино и режиссером. Я ехал в своих самых первых «Жигулях» по улице Горького в Москве; мне было сорок лет. На углу Садовой и Маяковской, то есть, как нынче по-старому говорят, на Садово-Триумфальной, я увидел Геннадия. Он стоял с окаменевшей улыбкой и смотрел то ли на кишашую толпу, то ли на памятник, доминирующий над кишением. В нем самом было что-то от памятника, во всяком случае он явно не жаждал дальнейшего перемещения в пространстве.

Зажегся красный свет, и я вспомнил, как он носился по пространству лет пятнадцать назад, юноша в джинсах и в майке, со взглядом горящим. Нынешнее одеяние застыло на нем монументальными складками. Пиджак отчасти обвис, отчасти натянулся на выпирающем животе, но главным свидетелем его дурного состояния были штаны. Мокрые и набухшие чуть ли не до колен, пропитанные жидкой глиной, они весили, почитай, полпуда. Я открыл дверь и позвал его. Он влез на заднее сиденье, распространяя запах беды.

Куда-то мы поехали. Он назвал какое-то место, где он мог выпить. Я спросил, как дела. Он сказал, что ему надоело стареть. Вот-вот будет 37; ты представляешь? Я сказал, что не только представляю, но и понимаю. Три года назад я сам приближался к 37, и каждый день казался пыткой. Протяни еще немного, Генка, и ты увидишь, что 40 — это лучше, чем 37.

В те времена еще не бытовал термин *mid-life crisis* (кризис середины жизни). Врачи говорили о дистонии, о «вегетативной буре». Для преодоления этих страданий рекомендовали абстиненцию, джоггинг и транквилизаторы, в частности седуксен. Шпаликов, или, если можно так сказать, его 37-й клон, увы, страданий сво-

их, как известно, не преодолел. Пессимисты считают, что все эти кризисы, дистонии и бури знаменуют конец молодости. Оптимисты могут предположить, что после mid-life наступает вторая молодость. Так или иначе, новый возраст вместе с более глубоким ощущением метафоры может принести артисту новое, неслюпящее звучание.

Вот именно, появляется склонность к суровости. Пушкин признавался, что гонит свою небрежную шалунью, чтобы войти в суровость безрифмовья. Прозаик, перешагнувший грань молодости, может невзначай решить, что ритм и рифма могут поднять весомость, а стало быть и суровость его прозы.

Интересно проследить движение от «шаловливости» к «суровости». Считалось всегда, что поэтическая, скажем, ямбическая, станца с ее строгими рифмами является чем-то вроде клетки для метафоры: за пределы рифмовки не выскочишь, в то время как в прозе ты можешь поехать на все четыре стороны. Таким образом шалунья вроде бы ограничивала пределы шалостей. Лишь позднее пришло в голову, что рифмы рожают своего рода «гипертекст». Особенно это относится к корневым, ассоциативным, парадоксальным рифмам, то есть к тем, которые хочется назвать «суровыми». Сотворив подобную рифму, автор вызывает к жизни проблеск какого-то нового, прежде неведомого мира.

Вот потому-то к ним и клонит. Чем неожиданней «суровая» рифма, тем шире и глубже раскрывается метафора. В процессе романостроительства я то и дело испытываю желание выйти за границы жанра. Начинается спонтанная ритмизация, а вслед за этим и риф-

мовка. Вот вам пример из книги «Негатив положительного героя». Романостроительство там сравнивается с сооружением удивительного дома на берегу «Вашингтонской гавани». Вы размышляете об участии персонажей...

«...Закрадывается подозрение, что по ночам, когда вы спите, они (персонажи) не спят. Иначе почему вы утром прежде всего думаете (и дальше некий «вы» почему-то переходит на рифмованный слог): что там с ними за ночь стало? / Не пожрал ли их дракон? / Или грязный крошка Сталин / вслед послал своих драгун?»

О рифмованной «клетке» здесь и речи быть не может. Напротив, открываются неожиданные обзоры; метафора расширяется, углубляется и приобретает новые черты.

Эти соображения занимали меня еще в семидесятые годы. В романе «Поиски жанра» есть специальная подглавка «По отношению к рифме». Вниманию читателя предлагаются «воспоминания бродячего прозаика»:

«...Лило, лило по всей земле... Лилó или лѝло? В лиловый цвет на помеле меня вносило. Когда метет, тогда «мелó», отнюдь не «мѝло». Весной теряешь ремесло, такое дело. <...> но к вечеру на горизонте становилось ало, иллюзии двигались к нам навалом по рельсам, по воздуху, смазанным салом, воображенье толпы побежало, и можно три дня рифмовать по вокзалам, навалом наваливаясь на «áло», но это безнравственное начало, и, с рыси такой перейдя на галоп, я пробую «áло» сменить на «аллó». <...> там я бродил в поисках рифмо-отбросов, пока не выписал себе через Литфонд ежедневный обед. Тогда стал получать горяченькие эссе от

борща через кашу к кофе-гляссэ. Бывало там и салями, если они не съедали сами. Я брал кусочек салями и отнесил вам, Суламифь. Я видел локон, чуял ток и целовал вас в локоток».

Позднее эта склонность из словесной игры, из «буриме» переросла в неотъемлемую часть романного сочинительства. Стих стал чем-то вроде подзарядки аккумуляторов: он ободряет и вдохновляет автора.

Если в романном развитии возникает торможение, я обращаюсь к стиху, то есть от самого молодого литературного жанра ухожу к древнейшему, к поэтическому взволнованному бормотанию, камланию или даже к распевке.

Такое случается и в работе над пьесой. В пьесе «Цапля», например, между прозаическими актами возникает текст, в котором вы найдете и ямбический ритм, и полноценную, не совсем еще «суровую» рифму. В довершение ко всей этой игре вы, конечно, заметите, что поэтические отступления углубляют образ Владлена Моногамова и развивают метафору птицы, не знающей государственных границ.

Роман, несмотря на свою молодость (ему всего лишь пятьсот лет), может облачиться в старинные одежды и объявить себя «историческим». В этом случае в нем проявляется тенденция копнуть до онтологии, и здесь нередко ему может помочь стихотворная стилизация, подобная той, что возникла, например, в «Вольтерьянцах и вольтерьянках»:

Эй, Чурило Пленкович, расейский ерой,
Скачет ночью, не видноть ни зги!

А поганое ыдло выжжит под горой
Вместе с падлой блажной мелюзги.

И все-таки пьеса стоит гораздо ближе к стиху, чем роман. При рождении ей не нужен был Гутенберг, а рождение ее уходит в седые, чуть ли не «хтонические» времена, когда не только печатный станок, но и бумага и чернила не требовались, а полагались только на органы головы. Оттуда и стих исходил, там и в памяти откладывался как явление Гомера. Под этими древними влияниями, очевидно, весь Шекспир оказался записан свободным стихом, а его автор назван *бардом*.

Парафразируя нашего *барда* Грибоедова, я в пьесе «Горе, Гора, Гореть» временами прибегаю к стихотворному слогу с рифмами, иной раз похожому на «зонги» Брехта, а в другой раз — на лирику раннего футуриста Пастернака.

В общем, в этом предисловии я призвал бы читателя не впадать в «звериную серьезность». Старый сочинитель не жаждет поэтических лавров; просто «лета к суровой рифме клонят».

«Хотите бифштекс из сердца?..»

Я предлагаю начать в хронологическом порядке, то есть с первого романа, который был напечатан летом 1960 года в журнале «Юность». Название «КОЛЛЕГИ» было придумано не кем иным, как главным редактором и создателем этого журнала Валентином Петровичем Катаевым. Интересно отметить, что стихи попытались пробраться в самую первую версию текста, который я еще по скромности не решался назвать «романом», а прикрывался типичным жанром журнала — «повестью». Каждую главу своего первого объемного сочинения я предварял стихом из трех и более строк. Лично мне они очень нравились, и я видел в этом сочетании прозы и нормального рифмованного стиха некий формальный изыск. Редактор отдела прозы Мэри Озерова железной женскою рукой спокойно выломала этот изыск, сказав: «Вы это серьезно, Вася? ...Ну что вы, в самом деле, придумали?.. К чему эти вирши?.. Да ну вас, перестаньте!» Я, конечно, согласился, потому что хотел поскорее увидеть два номера журнала с «Коллегами». До сих пор не знаю, благое ли

дело сотворила Мэри, убрав эту приправу. Стихи эти пропали безвозвратно в постоянных перемещениях, и сейчас я не могу вспомнить ни единой строчки. За исключением одной строфы, которая вот сейчас выплывает в памяти:

Семестры и курсы лежат на дне,
На чертовой глубине.
Годы и люди тех давних дней
Лишь снятся тебе во сне.

Один стих, не связанный с циклом предисловий, все-таки пробрался в текст романа. В студенческие годы в Питере я был влюблен в однокурсницу Митусову и написал в ее честь немало стихов. Она на последнем курсе вышла замуж за венгерского студента Гезу Денеша, и они вдвоем уехали в Будапешт как раз к началу восстания. А я стал писать роман «Коллеги». Вдруг один стих из митусовской тетрадки пришелся впору, и я подарил его главному герою Максиму.

В СТОЛОВКЕ

В столовке грохот и рокот,
Запах борщей и каш.
Здесь я увидел локоны,
Облик увидел ваш.

В бульоне плавал картофель,
Искрился томатный сок.
Я видел в борще ваш профиль,
И съесть я борща не смог.

Быть может, вот так же где-то,
В буфетах Парижа, Бордо,
Стояли за винегретом
Тургенев и Виардо.

«Тефтели с болгарским перцем», —
Вы скажете свысока.
Хотите бифштекс из сердца
Влюбленного в вас чудака?

Года два назад на одной литературной конференции ко мне подошла группа геофизиков-бардов-музыкантов во главе с Александром Жуковым. Они подарили мне CD с девятнадцатью песнями, которые они поют под аккомпанемент гитары, флейты, альты и виолончели. Одной из этих песен как раз и была упомянутая «Столовка»; выпрыгнула на поверхность через сорок пять лет.

Существует еще одна странная и отчасти плутовская связь, соединяющая «Коллег» с поэзией. Роман начал печататься через пару недель после похорон Пастернака. Его имя после хулиганских разносов, учиненных Хрущевым и Шелепиным и подхваченных большинством Союза писателей, запрещалось упоминать. Между тем в «Коллегах» второй главный герой Зеленин вспоминает строфу из «Баллады», посвященной концерту пианиста Генриха Нейгауза.

Удар, другой, пассаж, и сразу
В шаров полночный ореол
Шопена траурная фраза
Вплывает, как большой орел.

Имя автора там не указывается. За несколько дней до отправки верстки романа в печать меня остановил

в коридоре редакции ответственный секретарь журнала Леопольд Абрамович Железнов. «Все собираюсь вас спросить, Вася, чьи это у вас там стихи про Шопена?» Не долго думая, я брякнул: «Это мои собственные». Железный «правдист» Железнов похлопал меня по плечу: «А знаете, совсем неплохо». Таким образом в обстановке удушающего табу одна строфа из бессмертных стихов вышла в свет тиражом полтора миллиона экземпляров.

«Я бью ломом в старую стену, которая никому не нужна...»

Ровно через год после «Коллег» в том же журнале вышел мой второй роман, нашумевший «ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ». В те времена, в начале шестидесятых, в литературе и ее окрестностях установилось уже мнение, что выбиться в люди молодой автор может только при помощи скандала. Это был как раз тот самый случай; крепче скандала не разыграешь. Газеты тогда расклеивали на уличных стендах, и каждое утро, толкая коляску с маленьким сыном, я выходил к Кропоткинскому метро и видел там жирные заголовки: «Фальшивый билет», «Это не наш билет», «Нет — звездным мальчикам!», «Билет, но куда?!» (в этом случае на заголовок пошла самая последняя строчка романа).

...«Звездный» так и не вышел до девяностых отдельным изданием по-русски, зато прокатился по всем странам Европы и других цивилизаций (Америка, Япония, Израиль).

Главными героями этой книги являются восемнадцатилетние московские мальчишки и их подружка, похожая на Брижит Бордо. Критики в Штатах сравнива-

ли их с Джеймсом Дином из кинофильма «The Rebel Without Cause» («Бунтарь без причины»). Нечего и говорить, что автор за «железным занавесом» никогда этого фильма не видел.

В тексте то там то сям разбросаны наивные стишки, которые сочиняет юный интеллектуал Алик Крамер. Вот, например, как он употребляет рифму а-ля Маяковский:

Бронзой мускулов,
День, греми!
Будут ли тусклыми
Наши дни?

Или:

Сколько ни петушишь,
В парках пожара
Не потушить.
Не трудись задаром,
Только не злись.
В парках пожары.
И листьев холодных слизь
Осень приносит тебе в подарок,
Только не злись.

Или:

Синий остров —
Это остов Корабля.
Очень просто —
Ребра, кости,
Нет угля.
На норд-осте

Виден остов
Корабля.
Мы к вам в гости.
Эй, подбросьте
Нам угля.

Димка Денисов (вот это, пожалуй, советское максимальное приближение к Джеймсу Дину), будучи со страшной силой влюблен в Галку, тоже горазд сочинить стих:

Вот так настигает тебя врасплох
Случайный взгляд, нечаянный вздох.
Они преграды городят,
Они, как целый полк, палят
В тебя, и нет спасенья.
Попробуй снова в мир ребят,
В просторный мир простых ребят
Уйти из окруженья.
Хоть разорвись на части,
Ты окружен и... счастлив!

В своих любовных мечтаниях он сваливается даже до весьма корявого гекзаметра:

Афродита родилась из пены морской у острова Кипра.
А Галя?
Неужто в роддоме Грауэрмана вблизи Арбата?
В сущности, Афродита — довольно толстая женщина,
я видел ее в музее.
А Галя?
Галя стройна, как картинка Общесоюзного дома
моделей.
Что бы я сделал сейчас, если бы был я греком?

Древним, конечно, но юным и мощным, точно Геракл?
О Галя!
Я бы схватил ее здесь, на пустующем пляже.
На мотоцикле промчался бы с ней через Таллин и Тарту.
Снял бы глушитель, чтоб было похоже на гром
колесницы.
Я бы унес ее в горы, в храм Афродиты.
Книгу любви мы прочли бы там от корки до корки.

Увы, любовь разрушена, гекзаметр в осколках,
но Димка неожиданно находит свой «зонг», без рифм,
но с ритмом протеста:

Я бью ломом в старую стену, которая никому не нужна.
Бью ломом в старую стену!
Бью ломом!
Бью!
Может быть, вот оно — бить ломом в старые стены?
В те стены, в которых нет смысла? Бить и вставить над
их прахом?
Лом на плечо и — дальше,
Искать по миру старые стены, могучие, трухлявые
и никому не нужные?
Лупить по ним изо всех сил?
Весело в прахе и пыли с ломом шагать по земле!

«Я люблю капитализма пароксизмы, катаклизмы...»

В начале шестидесятых я поставил себе за правило каждый год писать один небольшой роман. Между этими опусами творил множество другого добра — рассказы, эссе, путевые очерки, сценарии, пьесы, инсценировки... Непонятно, как на все это хватало времени, учитывая еще тот факт, что приходилось активно участвовать в богемной жизни вроде бы угнетенной, а на самом деле весьма фронтёрской молодой Москвы.

Как-то раз я написал большой рассказ «РАНДЕ-ВУ», в котором отразились декорации и маски богемы. Основные действия там происходят в ресторане «Нашшараби», в котором многие люди тех времен легко распознавали самое злачное место столицы — «Арагви»; кажется, он существует до сих пор и ведет довольно скромную жизнь на задах памятника Юрию Долгорукому.

Завсегдатаем «Нашшараби» и главным героем рассказа является некий ренессансный молодой человек Лева Малахитов, поэт, музыкант, вратарь сборной хок-

кейной команды Советского Союза, гроссмейстер шахмат и любимец женщин по обеим сторонам Атлантики. Он появляется в чем-то невероятно-меховом под московским густым снегопадом, гребет из Кремля, где он был Дедом Морозом, в «Нашшараби», его все там ждут. И сочиняет стихи.

Я можжевельник, можжевельник маленький,
А вы цветочек таитянский аленький...
Я можжевельник, я — по грудь в снегу,
Ко мне медведь выходит на поживу.
Но вы, на таитянском берегу,
Не верьте прессе, суетной и лживой!

Бурная разгульная ночь в ресторане. Неистовые советские танцы до упада. Иностранные гости, друзья Левы Малахитова пляшут и распевают куплеты в стиле бурлеска.

Я, профессор Виллингтон,
Презираю Пентагон
За набитую суму
И бубонную чуму!
Чем пускать народам кровь,
Лучше «делайте любовь»!
Я качаюсь, словно в гриппе,
У меня детишки — хиппи,
Я и сам красив, как бес!
Рашен, братья, олл зэ бест!
Наплевать на седину.
Мир победит, победит войну!

Появляется и присоединяется к танцующим аргентинский скотопромышленник Сиракузерс.

Мало кто в серьезной мере
Знает тут о миллиардере.
Между тем Одессы внучек
Мастер всяких разных штучек.
Пожираю малых наций
Без дурных галлюцинаций!
Наводняю континенты
В подходящие моменты!
С горьким стоном папуасы
Поедают лжеколбасы,
Псевдомясо от отчаянья
Поглощают англичане...
Я люблю капитализма
Пароксизмы, катаклизмы,
Прибыли во сне я вижу,
А убытки ненавижу!

Рассказ завершается появлением инфернальных сил во главе со Смелдищевым и наконец влюбленной в Леву Смердящей Дамы, олицетворяющей, как я объяснил в редакции, тлетворное мещанство, на самом деле — всеобъемлющую и ведущую нас всех вперед к светлому будущему властную структуру.

«И вот увидел он богатые палаты...»

В середине шестидесятых мы отправились с моим отцом Павлом Васильевичем Аксеновым в путешествие к истокам нашего рода, в село Покровское Ряжского района Рязанской области. Он не был там ни разу с той поры, когда, по местному выражению, «по жизни пошел». Сорок пять лет назад он ушел на Гражданскую войну сначала в эсеровском отряде, потом в большевистской Красной армии. После войны, став первостатейным «выдвиженцем», Павлуша постоянно продвигался вверх по ступеням большевистской иерархии, пока не достиг чина председателя Казанского горсовета и члена ЦИКа СССР. Вот на этом посту его и укоротили, объявив одновременно и бухаринцем, и троцкистом, и вредителем, и агентом мирового империализма. Приговорен он был к смертной казни, но расстрел случайно не состоялся и был заменен на 15 лет лагерей и 3 года ссылки. Только за год до окончания этого срока он был реабилитирован, восстановлен в партии и награжден орденом Ленина; недурно, правда?

И все эти годы он мечтал о возвращении в Покровское. Эти места приходили к нему во снах каким-то

детским раем с твердыми и сочными антоновками, с игривыми жеребятами, с прозрачным льдом прудов, по которым гоняли под Рождество, привязав к валенкам купленные на ярмарке «снегурочки». И сами ярмарки, конечно, со сладчайшими петуховидными леденцами.

И вот он приехал с сыном в 1964 году в это огромное, раскиданное по холмам село и ахнул — оно совсем за сорок пять лет не изменилось, разве что только светлый православный храм был изуродован и загажен. Нет электричества и водопровода. Скот держат в избах. В сельпо лучше не заходить. В чайную вообще-то тоже лучше не заходить, но где же мужикам выпить? А в середине села разлилась огромная лужа.

— Ничуть не изменилась, — говорит отец.

— Ты о чем? — спрашиваю я.

— О луже.

— Ее, наверно, конница хана Батыя такой оставила», — предполагаю я.

— Вполне возможно, — говорит отец.

Признаться, я до этого путешествия ни разу не был в российской сердцеvine. Первые впечатления были слегка ужасенькие, но по прошествии нескольких дней, пообщавшись с людьми, я проникся чувством какого-то удивительного родства и ощутил плавный распев местной речи. Вот тогда и возник замысел «ЗАТОВАРЕННОЙ БОЧКОТАРЫ».

Вся эта повесть стихийно написана в манере опозовского «сказа». Лирическими отступлениями здесь стали многочисленные сны рязанских диогенов, путешествующих в бочках на горбу разболтанной полуторки. Это еще не стихи, но уже и не повествовательная проза. Вот несколько примеров распевных, едва ли не

былинных текстов, замешенных на советских бюрократизмах и перемешенных с модернизмом.

ПЕРВЫЙ СОН СТАРИКА МОЧЕНКИНА

И вот увидел он богатые палаты с лепным архитектурным излишеством и гирляндом. Батюшки-светы родные, Пресвятая Дева Богородица, как говаривала отсталая матушка под влиянием крепостного ига.

Образована авторитетная комиссия по разбору заявлений нижеследующего вышеизложенного.

Его проводят в предбанник с кислым квасом... Уже в предбаннике!

...вручают единовременный подарок сухим пайком. Нате вам сала шашнадцать кило, нате урюку шашнадцать кило, сахару для самогонки шашнадцать кило.

Потом проводят в залу двухсветную, красным бархатом убранную, ставят на колени, власы ублажают подсолнечным маслом из каленых семян, расчесывают на прямой пробор.

В президиуме авторитетная комиссия с председателем. Председатель из себя солидный, очень знакомый, членистоногий — батюшки-светы, Колорадский Жук. По левую, по правую руку жучата малые, высокоактивные.

— Заявления ваши рассмотрены в положительном смысле, — внушительным голосом говорит председатель.

— Разрешите слово в порядке ведения, — пискнул малый жучок.

Душа старика Моченкина похолодела — разоблачат, разоблачат!

— Посмотрите на него внимательно, уважаемая комиссия, ведь это же картошка. По всему свету рыщем,

найти не можем, а тут перед нами высококачественный клубень.

Принято решение, сами знаете какое.

Еле выбрался в щель подпольную, выскочил на волю вольную. В окно видал своими глазами — жуки терзали огромный клубень.

Ночь провел на Квасной Путяти в темени и тоске. Подбирался ложный крокодил, цапал замками за ноги, щекотал.

А утром вижу, идет по росе осиянной молодой защитник Хороший Алимент.

ПЕРВЫЙ СОН ПЕДАГОГА ИРИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ СЕЛЕЗНЕВОЙ

Она давно уже подозревала существование не включенной в программу главы Эластик-Мажестик-Семани-фик...

Гули-гулюшки-гулю, я тебя люблю... На карнавале под сенью ночи вы мне шептали: люблю вас очень...

Это староста первого потока рыжий Сомов взял ее на буксир как плохоуспевающую.

Помните, у Хемингуэя? Помните, у Дрюона? Помните, у Жуховицкого? Да ой! Нахалы какие, за какой-то коктейль «Мутный таран» я все должна помнить.

А сверху, сверху летят, как опахала, польские журналы всех стран.

— Встаньте, дети!

Встали маленькие львы с лукавыми глазами.

Ой, вспомнила — это лев Пиросманишвили. Если вы сложный человек, вам должны нравиться примитивы. Так говаривал ей руководитель практики Генрих Анатольевич Рейнвольф. Наговорили они ей всякого, а оценка — три.

И все ж: гули-гулюшки-гулю-я-тебя-люблю-на-карнава-ле-под-сенью-ночи кружились красавцы в полумасках

на танцплощадке платформы Гель-Гью. Ирочка, деточка, иди сюда, мячик дам. Бабушка, а зачем тебе такие большие руки? Чтобы обнять тебя. А зачем тебе эта лопата? Бери лопату, копай яму, сбрасывай сокровища!

На маленькой опушке,
Среди зеленых скал,
Красивую бабешку
Волчишка повстречал.

Прощайтесь, гордо поднимите красивую голову. Не сбрасывайте сокровищ! Стоп, вы спасены. К вам по росе идет Хороший Человек, и клеши у него мокрые до колен.

ВТОРОЙ СОН СТАРИКА МОЧЕНКИНА

И вот увидел он — вся большая наша страна решила построить ему пальто.

Сказано — сделано: вырыли котлован, работа закипела. Пальтомоченкинстрой!

Заложено было пальтецо, как линейный крейсер, синего драпа, бортовка конским волосом, груди проектируются огромнейшие, как у Фефелова Андрона Лукича, нате вам!

Надо бы жирности накачать под такое пальто. Беру булютень (у кого?), беру булютень у товарища Телескопова, нашего водителя, ввожу в себе крем-бруле, студень, лапшу утячаю, яичнаю болтанку — ноль-ноль процента результата, привес отсутствует, хоть вой! Шельмуют в семье с жирами, жируют в шельме с семьями, а кому писать, кому челом бить? Стучи, стучи — не достучишься. Пальто высилось над полями и рощами, как элеватор, воротник мелкими кольцами в облаках, и вот иду на примерку.

А посередь поля — баран неохолощенный, огромный, товарный, товарный... А вы идите, господин-товарищ, как бы стороной, как бы между прочим.

Так и иду, баран только землю роет, спасибо, люди добрые. Вот пальто, а в пальте дверь, а в дверях Фефелов Андрон Лукич.

— Вам куда, гражданин хороший?

— А на примерку, Андрон Лукич.

— Хоть я и Лукич, а ты мене не тычь. Примерки, гражданин, больше не будет. В вашем пальте давно уже краеведческий музей. Извольте за гривенник полюбопытствовать экспонатом. Етта баран товарный, мутон натуральный, етта диаграмма качественная с абсциссом и ординатом, а етта старичок маринованный в банке, ни богу свечка, ни черту кочерга — узнаете?

С ужасом, с воем выпрыгнул из кармана, плюхнулся в траву.

— Иде ж ты, иде ж ты, заступница моя родная? Иде ж ты, Юриспруденция, дева чистая, мятная, неподкупная?

Шевелились травы росные, скрыл был большой, как будто под тяжелыми шагами.

ТРЕТИЙ СОН ПЕДАГОГА ИРИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ СЕЛЕЗНЕВОЙ

Жить спокойно, жить беспечно, в вихре танца мчаться вечно. Вечно! Ой, Глеб, пол такой скользкий! Ой, Глеб, где же ты?

Ирочка, познакомьтесь, — это мой друг, преподаватель физики Генрих Анатольевич Допекайло.

Генрих Анатольевич, совсем еще не старый, скользя на сатирических копытцах, подлетал в вихре вальса — узнаете, Селезнева?

На одном плече у него катод, на другом — анод. Ну как это понять моей бедной головушке?

С какой стати, скажите, любезная бабушка, квадрат катетов гипотенузы равен региональной конференции аграрных стран в системе атомного пула?

Еще один мчится, набирая скорость, — чемпион мира Диего Моментальный, в руках букет экзаменационных билетов. Ах да, мое соло!

В пятнадцатом билетике пятерка и любовь,
в шестнадцатом билетике расквасишь носик в кровь,
в семнадцатом билетике копченой кильки хвост,
а в этом вот билетике вопрос совсем не прост.

Кругом вальсировали чемпионы мира, мужчины и женщины, преподаватели-экзаменаторы приставучие. Ждали юрисконсульта из облсобеса — он должен был подвести черту.

И вот влетел, раскинув руки, скользя в пружинистом наклоне, огненно-рыжий старичок. Все расступились, и старичок, сужая круги, рывкнул:

— Подготовили заявление об увольнении с сохранением содержания?

Повсюду был лед, гладкий лед, раскрашенный причудливым орнаментом, и только где-то в необозримой дали шел по королевским мокрым лугам Хороший Человек. Шел он, сморкаясь и кашляя, а за ним на цепочке плелись мраморные львята мал мала меньше.

СОН ВНЕШТАТНОГО ЛАБОРАНТА СТЕПАНИДЫ ЕФИМОВНЫ

Ой ли, тетеньки, гусели фильдеперсовые! Ой ли, батеньки, лук репчатый, морква сахарная... Ути, люти, цып-цып-цып...

Ой, схватил мне за подол игрец молоденькой, пузатенькой. Ой, за косу ухватил, косу девичью.

— Пусти мне, игрец, на Муравьиною гору!

— Не пуццу!

— Пусти мне, игрец, во Стрекозий лес!

— Не пуццу!

— Да куда ж ты мне тянешь, в какое игрище окаянное?

— Ох, бабушка-красавочка, лаборант внештатный, совсем вы без понятия! Закручу тебя, бабулька, булька, яйки, млеко, бутербротер, танцем-шманцем огневым, заграмоничным! Будешь пышка молодой, дорогой гросс-муттер! Вуаля!

Заиграл игрец, взбил копытами модельными, телесами задрожал сочными, тычет пальцем костяным мне по темечку, щакотит — жизни хочет лишить — ай-тю-тю!

— Окстись, окстись, проклятуций!

Не окщается. Кружит мне по ботве картофельной танцами ненашенскими.

Ой, в лесу мурава пахучая, ох, дурманная... Да куды ж ты мне, куды ж ты мне, куды ж ты мне... бубулички...

Гляжу, у костра засел мой игрец брюнетистый, глаз охальный, пузик красненькой.

— А ну-ка, бабка-красавка-плутовка, вари мне суп! Мой отель покушать зюппе дритте нахтигаль. Вари мне суп, да наваристый!

— Суп?

— Суп!

— Суп?

— Суп!

— Суп?

— Суп!

— А, батеньки! Нахтигаль, мои тятеньки, по-нашему соловушка, а по-ихому так и будет нахтигаль, да только очарованный. Ой, бреду я, баба грешная, по муравушке,

выковыриваю яйца печеные, щавель щиплю, укроп дергаю, горькими слезами заливаюся, прощеваясь с бочкотарою любезною, с вами, с вами, мои голуби полуночные.

Гутень, фисонь, мотьва купоросная!

А темень-то тьмуцая, тятеньки, будто в мире нет электричества! А сзади-то кочет кычет, сыч хрючет, игрец регочет.

И надоть: тут тишина пришла благодатная, гиль-гуль-ная, и лампада над жнивьем повисла масляная. И надоть — вижу: по траве росистой, тятеньки, Блаженный Лыцарь выступает, научный, вдумчивый, а за ручку он ведет, мои матушки, как дитяню, он ведет жука рогатого, возжеланного жука фотоплексируса-батюшку.

ПОСЛЕДНИЙ ОБЩИЙ СОН

Течет по России река. Поверх реки плывет Бочкотара, поет. Пониз реки плывут угри кольчатые, изумрудные, вьюны розовые, рыба камбала переливчатая...

Плывет Бочкотара в далекие моря, а путь ее бесконечен.

А в далеких морях на луговом острове ждет Бочкотару в росной траве Хороший Человек, веселый и спокойный.

Он ждет всегда.

«Я разобью театрик без рампы и кулис...»

Семидесятые годы прошлого века в Советском Союзе, несмотря на привычное прозябание, ознаменовались одним позитивным событием — появлением и внедрением надежного европейского автомобиля Фиат-Жигули. Народ обалдел от такой удачи и стал повсюду разъезжать. Эта автомобильная страсть не обошла и вашего покорного слугу. Забросив свой кошмарный «Запорожец», на котором я остерегался выезжать без заводной ручки и буксировочного троса, я приобрел итало-советский фургончик и стал бороздить пространства державы; иногда по делу, а иногда без определенного смысла; короче говоря, заторчал.

Вот именно это слегка гипнотическое состояние советских автомобильных дорог и мое собственное и отразились в новой книге «В ПОИСКАХ ЖАНРА». Его герой, бродячий фокусник Павел Дуров, колесит на своем, точно таком же, как мой, фургончике по различным областям страны, и если мы по прочтении окинем взглядом содержание глав, увидим тогда его дорожную карту: Минск по дороге в Литву, Крым, переправа в Та-

мань, дорога на Новороссийск, Сочи, Новгородская область, Симферопольское шоссе, Восточный Крым, Чернигов, Долина в горах.

Среди различных описаний и размышлений в этой книге присутствуют лирические отступления, построенные на ритмической основе, что сближает их с тургеневским шедевром «Как хороши, как свежи были розы», иначе говоря, они представляют здесь то, что называется «стихами в прозе».

«САВАСАНА. ПОЗА АБСОЛЮТНОГО ПОКОЯ»

Начнем, как в классике, с маленькой драмы. Действующие лица — Артист и Йог.

АРТИСТ. Превратиться в облако, в бессмысленный пар?

ЙОГ. Очень рекомендую.

АРТИСТ. Но что же тогда с кипением, с творческим мускусным началом, с рычанием, с этими абордажами, с тяжелыми сундуками ретроспектив — растворится все, что ли?

ЙОГ. Вот именно.

АРТИСТ. Нет, не отдам Прометеева огня, вечного источника любви, компрессии, вдохновения! Лучше пристрелю искусителя! (Стреляет.)

ЙОГ. Ваши пули у меня под лопаткой.

Пауза.

Прозаик — завистливое животное. Даже в концентрационной системе драмы мнится ему недоступная его жанру красота, он завидует скобкам, и в глупой ремарке «стреляет» воображается ему вольная проза, что, постукивая по льду, идет, как взбунтовавшийся кавалерийский полк, размахивая значками и шапками, в ритме медленного буги. От ремарки же «пауза» просто холодеет пузо.

Артист плыл, раскинув руки, над малыми странами Европы. Гляньте, что за облако, шептались в Монте-Карло, форма, цвет и качество, будто кант из марли. Нежен лик безбрачия, вот учитесь, воры, умилялась публика чопорной Андорры. Он этому не внимал. Волны праны протекали через него. Он уже не ощущал себя облаком, поскольку не ощущает же себя облако.

Между тем внизу малые страны Европы разбросаны были, как цыганские сласти на драной скатерти континента: Монте-Карло, Сан-Марино, Лихтенштейн, Тмутаракань, Шпицберген... Геноссе публикум, покупай, не клянч! Одна страна, как бубликум, другая, как кала(н)ч!

Струя отдаленной иронии, именуемая еще праной, покачивала то, что прежде было Артистом. Так продолжалось бы вечно, увы... все эти лоскутные монархи, карликовые княжества и опереточные республики выделяли застойную мольбу, переспелые надежды, и весь этот пар охлаждался на крылышках облаковидного Артиста и превращал его в тучу, которая в конце концов пролилась в Европу. Всей-то радости всего-то было — зрелище мокрой зеленой земли, минутное превращение геополитики в простой ландшафт, но все-таки...

ЙОГ. Вставайте. Теперь вы уже не облако.

АРТИСТ. Кто же? Если не облако, то кто же я?

Йог молчит.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

*Посвящается поэту Константину Богатыреву.
Его квартира возле метро «Аэропорт»
всегда была полна заезжими европейцами,
что очень не нравилось тогдашним властям
предержащим*

...Всякий раз, как я встречал его на улочках нашего квартала, мне вспоминались университеты, и не отвлеченные

понятия высшего образования, но университетские территории, то, что сейчас называют кампусами.

Он был вообще-то переводчиком европейской поэзии, то есть поэтом, и сам себя, кажется, вовсе не связывал с университетами, с какими-то закрытыми учеными товариществами, а, напротив, быть может, полагал себя человеком улицы, бродягой, забубённым стихоплетом вроде Франсуа Вийона.

Я встречал его редко, но всякий раз, как мне сейчас представляется, где-то или в саду, или в аллее, всякий раз под какими-то огромными свисающими ветвями. Профессор (будем называть его так, хотя у него, кажется, не было ни единой ученой степени) с терьером на поводке, а сам похожий на ирландского сеттера, рыскал по кварталу в поисках созвучий. Мне казалось, что ему следует бежать всего того, что похоже на слова «гастроном», «комбинат», «протокол».

Однажды пришлось мне посетить городок Блумингтон, где в соответствии с названием процветает старый университет и колоссальные везде произрастают деревья. Ночью студенты бессонные шляются по пиццериям, в предгрозовой духоте проплывают они, как медузы, угри и тритоны. Там мы с дружкой, хлопоча по части шамовки, передвигались в ночи. Там нам обоим вдруг вспомнился рыжий Профессор, вдруг одновременно в память пришел и связался с университетом. Вероятно, все же существовала в невидимом мире двусторонняя связь между Профессором и университетами.

Прошлой весной было отмечено, что деревья в квартале весьма произросли и поднялись над крышами. Той же весной стало известно, что Профессор убит бандитами. Шутки ли ради или по слепоте судьбы, но он попал в криминальную статистику, в разряд невинных жертв.

Злой умысел его догнал — так подвывали сквозняки на тех углах, где он когда-то резко заворачивал со своим

терьером. «Какая бессмыслица» — так грустно шелестели посеребренные луной деревья в тех садах. «Любой злой умысел бессмыслен» — так печально полагала луна.

Не так ли? Бессмыслен удар железом по голове, но проломленная голова полна смысла. Нелеп выбор невинной жертвы, но сама невинная жертва полна смысла, лепости и благодати.

Кварталы наших домов, мигающих робкими огоньками, шумящие сады, полные тихих лепечущих душ, тротуары, на которых с каждым дождем проступают легкие следы Профессора, что рыскал здесь с терьером на поводке в подслеповатом розыске созвучий...

ГЛЯДЯ НА ДЕРЕВЬЯ

«Все в лунном серебре» — так произнес японец, мечтая возродиться сосною на скале. Славянским многоречием заменяя дальневосточную сестру таланта, будем говорить так.

Благороден лик могучего создання! Все тело сосны суть ее лик. Плюс корни. Корни сосны суть ее страсть. Плюс ствол и крона. Суть сосны — ее суть. Отсутствуют окольные помыслы, страх и угодничество. Еще бы раз родиться сосною на скале!

Иногда сомневаюсь: не мала ли для человеческой души сосна? Иногда сомневаюсь: не велика ли? Иногда не сомневаюсь: кому-нибудь да удалось совпасть.

Венцом живой природы повсеместно признан человек. Умолчим о том, кем он повсеместно признан, и воспоем хвалу огромным деревьям, которые не претендуют на венец, но украшают флору.

Семиствольный пучок гигантских вязов с трепещущими под ночным ветром верхами — заблудись среди семи стволов и прислонись щекой к коре. Стань человеческим

подкидышем в семье секвой, чудаковатым попрошайкой-императором меж двух гвардейских кипарисовых колонн.

Огромные деревья наполняют душу спокойствием: могущественная протекция. Под защитой, под покровом, под сенью буков, дубов, кленов, каштанов, берез, эвкалиптов чувствуешь себя надежнее, хотя они, казалось бы, не охраняют от зла, от тех персон, которым на флору наплевать, а такие среди нас есть. Отрешишь, однако, от этих сомнений и положишь на деревья. Насколько хватит тебя, учишь у них героизму.

Вспомни и о листве. В юности белые ночи выводили на перекрестки, где под балтийским ветром кипела листва, а в ней мигали желтые светофоры. Глядя на листву, всякий раз вспоминай ту жадную и жалкую молодежь, свое поколение, что прошлепало сомнительными подошвами по Невскому на закат, к Адмиралтейству, и растворилось в кипящей, пронзительно холодной листве.

БЕГЛЕЦ

Ненастным, но сухим утром он покинул свою любовь, пока она спала, и вышел на улицы города прямой, с изжеванным лицом под старомодной шляпой, в узком черном пальто, в галошах, с длинным английским зонтом.

Дон Жуан, убегающий от любви, в наши дни не диво. Уехать куда-нибудь сейчас не проблема. Компьютерная система распределяет билеты. Беглец, словно командированный, словно деловой человек, не вызывая подозрений, проходит анфиладами вокзала. Бегство — древняя страсть. Беглец — человек древности, и потому его озадачивают сочащееся сквозь стены освещение и прокатывающиеся над головой огненные цифры.

Прощальный миг. Сплошная полоса тяжелой зелени. Последнее мгновение. Он позабыл любовь, крапивную

рубашку, что жгла его сто лет. Растенья и селенья мелькают за окном. Сто лет с горячей кожей чего-то стоят. До исчезновения любви крапивной он предполагал, что жжет его глагол, страдал с благоговеньем: вот сила, дескать, обжигающая власть глагола, человеческого арта. Совокупленье творческих начал — биомеханика? Он взялся позабыть прикосновенья крапивного холста, ожоги, пузыри на коже, сладчайшие сползания с крестца, неожиданные поползновенья спасти, прижать к осиротевшей без боли груди хотя бы память, знак, хотя бы дуновенье с тех берегов, где некогда он целовал ее.

Где целовал свою любовь сбежавший Дон Жуан? На бетонном волноломе, в сельском доме приезжих, в номере люкс на ковре, в каюте парохода, в железнодорожном купе, на песчаном пляже, на гальке, на занозистых досках, на арендованных вонючих пуховиках, в веселых травах, перед экраном телевизора, за экраном телевизора, в подъездах, в палатках, под дождем, на снежном склоне, в очередях, на балконах...

Он стал хватать воздух ртом. Сбились две скорости: экспресс ровно и мощно несся вперед, воспоминания налетали и ураганами, воющими порывами швыряли назад. Могло бы кончиться трагикомично, если бы не внезапная остановка: кто-то повесил авоську с апельсинами на стоп-кран.

Дон Жуан осторожно глянул в окно и увидел свою любовь за полотном, на лужайке. Она лениво курила, валяясь, нога на ногу, на берегу маленького пруда или, если угодно, большой лужи. Многозначительный ветерок чуть морщил водную поверхность. Над лужайкой летало облако. В нем отражалась лужа. Луженая глотка пела за лесом соло паяца.

Однако я никогда не целовал ее вот так, за полотном, на лужайке, у лужи, и чтобы луженая глотка пела за лесом. Строго покашливая, он стал пробираться к выходу.

Бегство обернулось новой встречей. Стотысячное бегство Дон Жуана.

ТЕАТРИК

Я разобью театрик без рампы и кулис,
Входите без билетов — приехал к вам артист!
Расскажет вам историю
Про шхуну из надежд,
Которую построили
Четырнадцать невежд.
Корабль из речки меленькой
Отчалил в океан,
Четырнадцать бездельников
И капитан Иван...
На деревенской улице театр без стен и крыш,
Артист играет весело, а получает шиш.

ДРУГАЯ ДОЛИНА

*Упомянутое здесь озеро с контурами дракона
вызывает в памяти героя контуры его родной
страны*

Чувства ожили, когда мы с гребня хребта увидели другую долину. Оказывается, она соседствовала с нашей, но была огромна, как целая страна, и цвела под хороводом неведомых ночных светил. Восторг охватил нас, когда мы поняли, что это и есть истинная Долина.

Воздух любви теперь окружал нас, заполнял наши легкие, расправлял опавшие бронхи, насыщал кровь и становился постепенно нашим миром, воздух любви. Мы медленно, еще не вполне веря своему счастью, спускались в Долину.

На одном из поворотов мы увидели внизу чудо озер. Множество спокойных, затейливо нарезанных и прозрач-

ных до дна озер ждало нас. Я увидел среди них одно, похожее сверху на смешного бодливого дракончика, и почему-то подумал, что именно там будет теперь мой дом.

Потом началось чудо дерев. Разновысокие пучки дерев окружали нас и трепетали своей резной листвою то ли под чудом ветра, то ли под чудом ночных светил. Мы шли меж дерев по чуду травы. Чудо травы и цветов прикасалось к нашим ногам, животам. Прикосновения эти готовили нас, как мы все уже понимали, к чуду глаз. Вскоре оно наступило, и теперь сквозь листву, и меж стволов, и из-под ног, и из открытых небес смотрело на нас множество глаз, и нам было радостно ощущать их прикосновения.

Потом впереди появился лев. Гигантскими прыжками он приближался, а потом побежал вдоль нашей цепочки, обнюхивая наши тела. Он пробежал от Александра до Павла и повернул обратно. Чистейшая золотая грива струилась в тиши, а теплый и мощный бок представлял соблазн для поглаживания. Мы гладили его, и всякий раз лев оглядывался и посматривал умным, чуть-чуть ироническим оком. Потом он прыжком возглавил наш отряд и повел нас дальше, в глубь Долины. Мы шли за чудом льва и готовились к встрече с новыми чудесами.

«Поиски жанра» претерпели в реальности одно любопытное приключение. Осенью 1977-го я сдал этот роман в журнал «Новый мир», и после кропотливой редакторской работы он был отправлен в набор. Через несколько дней я отправился в Западный Берлин на литературную дискуссию в Евангелической академии. К тому времени вообще-то я был «невъездным», все мои поездки отменялись, и только в одном месте, в Союзе писателей, по рассеянности сыскной службы ждал меня готовый паспорт.

Вскоре разгорелась тревога. Советский посол Абрасимов приказал мне явиться к нему в Восточный Берлин. Я отказался и улетел в Париж. Там мне сказали, что роман выброшен из планов «Нового мира». В интервью корреспонденту «Голоса Америки» я сказал, что если роман не будет напечатан, я не вернусь домой. Роман был напечатан. Я вернулся. Похоже на фокус Павла Дурова, не правда ли?..

«В ту ночь на Невском возле газировки мы кантовались...»

Долгие годы я считал «ОЖОГ» своей основной книгой, своего рода *opus magnum*. Писал ее (или его — роман «Ожог») шесть лет в какие-то заветные часы, с самого начала понимая, что пишу, как тогда говорили, «нетленку», у которой нет никаких шансов быть напечатанной среди «тленки», то есть текущей советской литературы. В 1975 поставил точку, неделю ходил в эйфорическом состоянии, а потом отвез рукопись верному другу сомнительных авторов машинистке Тане Павловой. Говоря «рукопись», я имею в виду 750 исписанных рукою стандартных страниц. Других носителей тогда не было — ни дискеток, ни дисков, не говоря уже об электронной почте. Таня сделала под копирку четыре экземпляра и сказала: «Это класс!»

Один экземпляр я оставил для прочтения своим ближайшим друзьям, два спрятал у себя на чердаке, четвертый же с помощью сотрудницы австрийского посольства переправил через границу своему литагенту в Сиэтл. Через полгода «Ожог» прибыл к адресату, и я был счастлив, ведь у всех на памяти был налет чекистов на квартиру Василия Гроссмана, когда они кон-

фисковали все экземпляры его романа «Жизнь и судьба», а заодно и пишущую машинку с использованными копирками. На этом, однако, все не успокоилось: «Ожог» предстояли еще другие приключения.

По прошествии двух лет, летом 1977 года, ко мне явились два гэбиста. С весьма значительными минами и даже с некоторым драматизмом они сообщили, что «Ожог» у них в руках. «И только не обвиняйте в этом своих друзей, — добавили они. — У нас есть свои профессиональные каналы». Разговор был долгим, и все свелось к суровому, но в принципе чрезвычайно наглому предупреждению. «Если вы напечатаете эту книгу на Западе, нам придется с вами попрощаться», — сказал один.

«А нам бы этого не хотелось», — добавил другой.

Принято считать, что меня выгнали из-за «Метрополя»; на самом деле виноват «Ожог». Что касается близких московских друзей, то в них я уверен. Однако в этой неблагоприятной истории были задействованы и неблизкие друзья, живущие в нескольких кварталах от нью-йоркского издательства, а там уже в то время были на каждом углу копировальные машины. Какой-нибудь неблизкий друг мог и роман дискредитировать, и текст добыть для другого неблизкого друга. Впрочем, те далекие истории мало похожи на современные триллеры, а потому и нечего нам вдаваться в подробности.

В этом пространном тексте помимо всего прочего существует довольно много различных верлибров, ритмических глоссалий, разных снов, летних и лётных, девичьих плачей, ритмических прогулок, лимиреков, хмельных напевов, звуковых шквалов и даже одна «песня протеста советской молодежи».

Мой старый друг джазист и прототип одного из пяти главных персонажей Алекс Козлов однажды сказал, что «Ожог» — это самый джазовый роман из всех. Преподношу с гордостью:

ПЕСНЯ ПЕТРОГРАДСКОГО САКСА ОБРАЗЦА ОСЕНИ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОГО

Я нищий,
нищий,
нищий,
И пусть теперь все знают — я небогат!
Я нищий,
нищий,
нищий,
И пусть теперь все знают — у меня нет прав!
Пусть знают все, что зачат я в санблоке, на тряпках
Двумя врагами народа, троцкистом и бухаринкой,
в постыдном акте,
и как я этого до сей поры стыжусь!
Пусть знают все, что с детства я приучался обманывать
все общество,
Лепясь плющом, и плесенью, и ржавчиной
К яслям, детсаду, школе, а позднее к комсомолу
Без всяких прав!
Я нищий,
нищий,
нищий,
И пусть теперь все знают, что
Я девственник в обтруханных трусах!
Я девственник, я трус с огрызком жалким, но,
О Боже Праведный, я не гермафродит!
Мужчина я! Я сын земли великой!
Я куплен Самсиком на бешеной барыге у пьяного слепца

За тыщу дубов, которые собрал он донорством
и мелким воровством.

Но, Боже Праведный, мне двадцать лет, а скоро будет
сорок!

Я тоже донор, и кровь моя по медицинским трубкам
Вливается в опавшие сосуды моей земли!

И пусть все знают — я скорее лопну, чем замолчу!

Я буду выть, покуда не отдам моей искристой крови,
Хотя я нищий,

нищий,

нищий...

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

*Импровизация саксофониста Самсика Саблера
в джаз-кафе «Синяя птица».*

Начало семидесятых

я переоценил

я недооценил

закаты и рассветы над городами в перспективах
улиц

лимонные лиловые бухие

верблюжьи морды

плоские эскадры далеких миноносок

вкупе с ветром качающим над маленькой Европой

слепые фонари под проводами

с трамвайным скрежетом

со стуком каблучков

с младенцем вкупе

жирным мамлакатом в купели цинковой

под солнцем сталинизма

под солюксом досмотров выставшим

и нашей юностью зовущимся

я переоценил

я недооценил

библиотечный запах
развалы книг и Анатоля Франса
и ангела скользнувшего в проходе за буквой Щ
к началу алфавита
скромнейшим шагом так подслеповато скользящего
и в лабиринте этом с особым запахом
так волновавшим сердце
все эти тысячи совокуплений
полет с жужжаньем с жадностью желаний
нежнейшие контакты
сборы меда
и пополнение знаний багажа
я переоценил
я недооценил
все дриблинги и пасы могучие броски удары сбоку
удары снизу
лобовые свинги
захват клещами
болевой приемчик
полет в пролет на уголь
сигарету прижатую к щеке как веский довод
что прижимает к стенке оппонента в ученом споре
призрак баррикады
и юношей-ровесников
уроки
дававших танкам
въехавшим под утро в их город
в молодость
и в память навсегда
я переоценил
я недооценил
ректификат колымский
Вдову Клико и самогон рязанский
коньячность звезд
латунные медали

останки раков — поле Куликово
и кружки с шапками как семь богатырей
и локти дружбы
дружбы алкогольной
совместное похмелье муки ада
которые конечно в коллективе с друзьями теплыми
нетрудно пережить
я переоценил
я недооценил
синедрион свирепый под куполом лазурным
и колонны секвойи белые
холодные секвойи
к секвойе ты взывал
взывай к акулам
акульи рты и стертость подбородков
так удивившая перед лицом зверинца растерянность
друзей
и рев зверинца
ату-ату-ату их за границу
в психиатричку
в гроб
а нам а нам икорки
мясца послаще и жиров и соков
пусть через трубку в зад
пусть в ноздри в уши
в поры
лишь только бы текло
я переоценил
я недооценил
Унгены Брест-Литовский Чоп Галицийский
борщ по-белорусски
швейцарский харч и аргентинский хмель
квартал Синдзюко в шуме малахольном
подвальчик Сэто
и тебя Чиеко

мех обезьянки и ее уловки
гуд лак
и пароксизм патриотизма в буфете в туалете
на вокзале
под мокрым снегом в колее белазов
под золотом Великого Ивана
под сокровенным полосканием флага
за булочной в укромном уголке
и вышки тень и глазки...
глазки сталинской свиньи
проклятые зловонные салоп истории вам в орденоносные
 пасти салоп истории на ваши традиции
на ваши рега-рега-рега-рега-рега-рега-рега-кppушш-крушш-
 крушш-фтирppp-гppp-хppp-сссуки!

я переоценил
я недооценил
свою ночную лампу
запой иль схиму
радость покрыванья бумаги белой червячками знаков
жуками иероглифов морскими
кириллицы плетнями
и решеткой готической латиницы
и лестницу в ночи
все утешенья ночи
таинственный в ночи проход по парку
сквозь лунную мозаику террас *
прикосновенья рук
до криков шантеклера
прикосновенья щек
и шепот и молчанье
таинственность в ночи...

Как многозвучна ночь!

**СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ БУТЫЛОК «ЭКСТРЫ»,
ПРИВЕЗЕННЫХ СТАРШИНОЙ
ИВАНОМ МИГАЕВЫМ
С КАЗАНСКОГО ВОКЗАЛА В СТУДИЮ
СКУЛЬПТОРА РАДИЯ АПОЛЛИНАРИЕВИЧА
ХВАСТИЩЕВА**

Опыт записи летнего сна

В ту ночь я прибыл по распределению в районный центр.

Как будто Сыромяги селенье звалось.

Райсовет пылал десятком окон, тополиным пухом ко-
за питалась, газик буксовал...

Больница размещалась на пригорке, и листья пальм
под океанским ветром дрожали, трепетали, то топор-
щась, то улетаая, словно кудри девы.

«В эфире молодость», вечерняя программа, там про-
филь девы каждому знаком.

Внизу атолл причудливо змеился, под солнцем уз-
кое колечко суши как будто нежилось, и в полосе при-
боя под пенным гребнем проносились тени — то сер-
феры скользили по волне. Я дверь толкнул и оказался
в блоке, где кто-то двигался, смеясь и объясняя, весе-
льем неестественным играя и кашель заглушая рука-
вом.

— Прошу покорно, убеждайтесь сами, все пригото-
влено, разложено по полкам, стерильные комплекты... вот
ножи для ампутации, для лапоротомии, кюретки для скоб-
лежек криминальных, пинцеты, ножницы, рубанки, топо-
ры, набор таблеток на четыре года, спиртяшки выдано
вперед — залейся! — а что касается сестры-хозяйки, ее
вам хватит лет на пятьдесят.

Я посмотрел — огромное отродье стояло в тазике,
смиренно улыбаясь и подтверждая: «Не волнуйтесь, док-
тор, всего здесь хватит вам и вашим внукам на пару исто-
рических эпох».

If you like I can get you in my car...*

Таким макаром подготовив бегство и наградив себя словечком «хитрый», хихикая, подкручивая усик, он вышел в коридор в очках и шляпе, в галошах, с зонтиком, в крылатке и шарфе.

К нему рванулся, не сдвигаясь с места, десяток глаз, бесшумно умолявших избавить их хозяев от страданий, от боли и стыда, от угрызений, что свойственны болезням безобразным в начальной стадии.

— Ну что же, ну те-с да.

Ну что же, поднимите вашу блузку, чулок спустите, обнажите ногу, ну что же, так-с, незаурядный случай... Здесь больно? Нет? Но здесь хотя бы — да?

Помочь немедленно по правилам науки, но прежде прогуляться непременно по острову, в сельпо заехать, в офис, как губернатор славный Санчо Панса...

Скорей! Скорее в юркий «Запорожец»! Ухабами и слякотью к Воровской! Зайти в буфет, потом протелефонить, поклянчить денег, Сретенкой промчаться, туманным днем злословить в Гнездиновском, по Герцена, по Герцена к Садовой, мурлыкнуть на Арбате, выпить пива, войти в делишки кооператива, кто с кем, почем, на ком и почему...

Он вышел и увидел синагогу иль что-то вроде... выйдя из кино, попав в жару, в нещадный трепет солнца, в край лопухов и в джунгли бузины, увидел он древнейшее строение с орнаментом унылым, безысходным, твореньем неизвестного раба, чья жизнь была, должно быть, не похожа на жизнь яхтсмена Франка Джошуа...

В мечеть свою вносили ассирийцы, вавилоняне, жители Урарту, вносили в синагогу или в кирху, короче... в плотный сумрак заносили предмет тяжелый.

Вроде не меня, подумал он, стараясь ловко смыться, пройти сквозь бердыши, задком вихляя, вихляньем

* Если хотите, я могу вас подвезти (англ.).

этим вроде отвлекая угрюмых стражей. Мимо бердышей лояльный гражданинчик, семенящий, как будто между прочим, по делам. С докладом в папке, с докладной запиской, с пластмассовой сосиской, с бадминтоном, сквозь бесконечный строй — скорей-скорей-скорее — с улыбкой, понимающе кивая усам, и бердышам, и животам...

...и с криком ужаса он бросился к забору, к сырой норе, где светлячок метался, зубами разрывая конский щавель, ища спасения в куриной слепоте, покуда папоротники детства не сомкнули над ним свой кров и он не захрапел.

Пауза. Аспирин.

Я сброшен был как будто с парашютом в Весенний Лес, молчащий.

В небесах еще летел Мой Мир, довольно крупный, меняя геометрию всех членов, таща три выхлопа на нужной высоте.

Потом, пропажу видно обнаружив, он заметался, заюлил, заерзал, завыл динамиком, обиженно рванулся в ионосферу, лучики пуская, повис, как неопознанный объект.

Весенний Лес был скопищем высоких, разлапистых, замшелых, толстых, тонких, пятнистых, розовых, зеленых — ах, зеленых! — уже кудрявых и еще прозрачных и каплями увешанных и в птицах... и от обилия красивых незнакомцев я заскучал, почти затосковал. Но Лес был милостив и, сбросив пару капель мне на лицо, проговорил лениво:

— Не огорчайся, сценарист безбожный, мостов и пароходов поджигатель! Здесь все цветет, и в бульканье весеннем не так уж безобразен даже ты.

Когда-то я по дурусти писал про голые деревья — дескать, эти вернее и честнее тех других, что прикрываются зеленой шапкой. Весенний Лес, должно быть, не забыл подобной наглости, но мстительность ему была, я видел, совершенно чужда. Он мне сказал:

— Смелее, алкоголик! Броди, дыши, знакомься, вспоминай! Про кедр и дуб, про сосны и березы, про почки и стручки ты слышал в детстве, за пестик и тычинки в пятом классе ты получил «отлично», обормот...

Вот положительный ион на ветке, покручивая носом, наблюдает, как отрицательно заряженный ион фривольно прыгает и фалды задирает, как та горянка... Боже, та горянка, что под гору бежит, мелькает платьем, чулками полосатыми и кофтой в таинственном лесу под Закопане в славяно-европейских эмпиреях...

Он побежал за ней по-вурдалачьи, подпрыгивая, ухая, стеная, неумолимо сверху настигая и снизу поджидая за кустом.

Тогда она попалась... Он, разинув слюнявый рот, испытывал блаженство сродни клещу, влезаящему в мякоть, и закрывал ее своим плечом. Своим плечом огромным, словно бурка, своим плечом мохнатым, склизким, влажным, своим плечом моторным безобразным ее он прятал, грел и утешал.

Впоследствии, встречаясь на приемах, сухой мартини тихо попивая, о театральных фокусах болтая, политики прилежно избегая, а больше на мартини налегая, они в глаза глядели осторожно, и все о Закопане было там.

Тогда, уже не в силах скрыть отгадки, они друг другу нежно хохотали, чем вызывали бурю беспокойства в своем углу, и тут же Джон Карпентер, перемигнувшись с Плотниковым Петей, просил к столу, где сервирован ужин на тысячу приветливых персон. Видали ль вы тартельки расписные, что поедает с нехорошим хрустом салат ля паризьен? Боюсь — видели!

Видали ль вы омара заливного, жующего лапшу, сиречь спагетти? Видали ль вы вчерашние котлеты слегка с душком, что скромно претендуют на порцию цыпленка-табака, жующего миногу, а минога вполне по-светски набивала пузо паштетом птичьим... тот, не отставая, глотал

кольраби, а кольраби енти, набросившись, мудрили над индейкой, а та, паскуда, поедала всех...

Промолвил Смит, кивая Кузнецову, а Рыбаков сказал с полупоклоном, конечно, Фишеру, а Тейлор, улыбаясь, Портнягину тихонько преподнес, а Плотников, нимало не смущаясь, Карпентеру прошелестел губами ту фразу, что у всех у нас вертелась на языках и в головах вращалась...

— Будем здоровы! — так звучала фраза, и тихий смех прошел по серебру.

Как будто колокольчики, как будто колокола в монастыре великом, в хрустальных башнях отразились лампы, ножи сверкнули, битва началась.

Там сквозь хрусталь просвечивал товарищ, с которым мы когда-то мокрым летом каперту пышную на стенке наблюдали, угря жевали, пивом клокотали и модерн джаз нам дико подвывал.

Каперта прилетела из Торонто к хозяину безвестному Саару, который, на баркасе промышляя полсотни лет, никак не помышлял, что где-то ткут подобные каперты с па-стушками, похожими на кошек, с маркизами, снующими в облаве, с закатом над прудом, над лебедями... последние округлыми боками зады маркизов нам напоминали, зады, похожие на этих лебедей.

— Прелюбопытнейшим путем, однако, искусство движется, вот взять хотя бы «слово»... «кинематограф» взять... возьмем «скульптуру», окинем взором театраль-ный поиск... прелюбопытнейшим путем к распаду искусство современное бредет...

Так леди Макбет с царственной улыбкой плеснула керосинчику в беседу, и мы с товарищем тотчас же встали, взьерошив кудри, поводя усами, с хихиканьем заросшие затылки и щеки колкие руками теребя.

— Пока, ребя, спасибо за захмелку, за закусон, за рыбу, за культуру, однако же повестки получили мы с ним обое, значит, нам пора...

— Помилуйте, какие же повестки, простите за нескромность, но какие?!

— В прихмахерскую. — Мы захохотали. — В прикмейкерскую прибыли повестки!

Два полотенца, ложка, ножик, кружка... С вас рубль за штуку будет. На такси.

И мы тотчас помчались по Большому, в буфеты, в павильоны заезжая, пивные оставляя за кормою и Чвановский гудящий ресторан.

Большой проспект нежданно закруглялся за площадью Толстого, да нежданно, всегда нежданно... Мраморные люди на Карповку смотрели в тайных думах, в смущенье мраморном, а медные подъезды, прохладные и тайные, живые и ждущие визита Незнакомки, визита Блока ждущие... и там с Желябова, как завернешь на Мойку, за ДЛТ, предчувствие визита еврейской девушки-петербуржанки и острое предчувствие любви.

О взморье, взморье, волны, завихренья, волан, застывший под напором ветра, ажур и кружевное завихренья по Северянину... о Балтика, о Нида, о Териоки... Ваше Длинноножье... еврейской девушки следы на пляже...

Это было на взморье синем
В Териоках ли, в Ориноко...

Но вот подъехали и видим — кур гирлянды над входом в здание времён конструктивизма, гирлянды щипаных и шеями сплетенных в призыве страстном к другу-человеку: Добро пожаловать!

И мы без промедленья откликнулись и оказались сразу в том доме, полутемном и вонючем, в шатании фанеры коридорной, в мельканье безответственных персон.

Кружил нас странный поиск брадобрея, сквозь планетарий мы прошелестели, потом лекторий выплыл осторожно, наглядной агитацией гордятся.

— Вот здесь, пожалуй, надо нам расстаться! — сказали мы друг другу очень важно.

— Сюда, друзья! — Мозольный оператор махал нам полотенцем, как крылом.

— Нет, нам не к вам. — И в звон метлахской плитки мы удалились порознь, напевая о чем-то личном, важном, грациозном, фундаментальном, каждый о своем.

Я дверь толкнул, и тут уж предо мною особа выросла, глазастро-огневая, стремительно-вальяжная, бугристо... бугристо-каменистый подбородок, две пары щек и узкое отверстие, откуда, заполняя помещение, с отменным рокотом искательно-надменный глас проповедника кругами исходил.

Чертовски вкусный аромат сигары, чертовское поскрипыванье кожи, сапог добротных, кресел и поддужья, чертовски вкусный сэндвич по-техасски, чертовский кофе, коньяки и виски, чертовский блеск в уютном полумраке, чертовские возможности для роста, чертовский риск, чертовские мечты...

— Хе-хо-ху-ха, семейство человечье, по сути, лишь мицелий грибовидный, слой тонкой плесени, откуда на поверхность являются персоны-однодневки, и если в суп они не попадутся, то отмирают сами по себе.

— Позвольте, среди нас есть великаны! Толстой и Гёте, мудрецы, поэты, ученые, что в космос запускают ревущие громады кораблей!

— Хе-хо-ху-ха, ученые, поэты? Всего лишь сорт другой, из несъедобных, росточком выше да побольше во ни... Мицелий ваш, братишка, ненадежен, надежны лишь гниение и тлен!

— Возможно ль жить с подобным убежденьем?

— Нет, невозможно! — он провозгласил.

— Но что есть суп? Как вы сейчас сказали, лишь некоторые, так сказать, персоны имеют шанс в какой-то странный супчик, в отличие от братьев, угодить...

Он задрожал, глазищами играя, конечности с перстнями воздевая.

— Об этом деле можно, если хочешь, особым образом сейчас поговорить.

Улыбки, и кивки, и экивоки, подмигиванья, посвящения в тайну, три поворота с посвистом, прихлопы, присядка и коленца...

— Ха-ха-ха! Как это мило! Право, очень славно! Еще, еще последнее коленце! Тот пирует!

Я вышел осторожно, зажав ладонью рот, и побежал.

Ко мне рванулись, не сдвигаясь с места, десятков глаз, безмолвно умолявших избавить их хозяев от страданий, от боли и стыда, от унижений, что свойственны болезням безобразным в начальной стадии.

— А нуте-ка, старушка, с горбом ужасным, обнажите спину! Не бойтесь, мамочка, не плачьте, не страдайте, ведь перед вами врач и клиницист!

Нарыв огромный клиницист увидел, он вздулся, как прозрачная планета, артерии, ветвясь, как амазонки, дрожали напряженно, на пределе, в лимфоузлах, разбухших, как сосиски, накапливался взрыв, а крик старушки накапливался в горле маломощном...

Что делать мне?

СОН В ЛЁТНУЮ НОЧЬ

В ту ночь на Невском возле газировки
мы кантовались
автомат урчал
в обмен на медяки струилось пиво
струился квас
лимонная урина
струилась также
Автомат пенял

на злую участь — отпускай мол пойло бродячим
алкоголикам

и шлюхам
подыгрывай страстям
рядись в личину дешевой липкой горе-газировки
хотя задуман был ты при рожденье
как вдохновенный гибкий леопард
Мы хохотали думая о страшном
мы хохотали думая о черном
а ночь была светла традиционно
и мы смеялись дря лимонад
Какая право общность интересов
содружество умов
единство жестов
мигалки желтые в листве адмиралтейской
мигали нам
А город наш был пуст
лишь «кузьмичи» взволнованной толпой —
все лысины священные и брюки
великий галстук
праведный жилет
честнейшие ботинки —
прошли твердя что в городе порядок
что город спит он спит всего лишь спит
устав от диких тайн полярной ночи
Вот это хохма — попка на плече
посол Демократической Гвинеи
и грек из Петербургской Иудеи
Баварской Академии сочлен
танцовщица поэт скрипач арфистка
лиса Алиса
добрый мистер Тоб участник поражения в Дюнкерке
без прав на жительство
с блохой на поводке
Мы хохотали вдоль по перспективе

к Московскому вокзалу
кони Клодта смеялись с нами
бронзовые пасти беззвучно открывались
комья кала в Фонтанку падали
беззвучные круги собой рождая
Всем мраморным лицом
был город этот слеп
но все ж он что-то видел
быть может тишину
дрожал тревожно скрытно
смотрел в портьеру в щель
всем мраморным лицом смотрел на Пустоград
в преддверье оккупации
Ах так
наш город оккупирован
сознайтесь
да ждем врагов с минуты на минуту
да признаюсь печально но
отныне
не стоит ни копейки наша жизнь
Давайте будем до конца правдивы
в любой момент на улице прихлопнуть
вас могут гражданин
а женку вашу
в любом подъезде взводом отдерут
Но где ж они
пока не появились
но кто они
могли б не задавать таких вопросов диких
и бесплодных
гласящих о банальности ума
Вам хорошо острить как пожилому Ослу Козлевичу
в замшелых брюках
на вас ведь не позарится никто
а мне куда деваться

Многодетный
отец я с внешностью красивой сучки
и жен моих немало в подворотнях
и чемодан банкнотами набит
Какая ужас
оккупант подходит
вот скрип колес
вот говор за углом
По Бродскому проедут осторожно
свернут на Наймана
по Рейну пропылят
как дунут Штакельбергом к Авербаху
на Пекуровской лишь затормозят
Пора смываться
есть одна аптека
в ней книжный магазин и раскладушки
стальные жалюзи
запас продуктов
и сигарет «Кладбищенский процесс»
такая марка нечего чураться
полпачки выкуришь и тихо улетаешь к Нирваны берегам
туда где змей зеленый цветет как лилии как нежное алоэ
как сотня кобр качается в болоте
а посредине в блеске баттерфляя
плывет советский розовый Тарзан
Но где ж аптека
где мясная лавка
где наш приют убежище
светильник ума и красоты
где дом молельный тихий
куда простите отправляют пепел
творцов изящного усатых смельчаков?
Мы шли по Невскому
невидимый цунами шел по пятам
съедая все следы

сметая бронзу мрамор позолоту
плевки счищая
юность поглощая
сжирая урны чистил Пустоград
опустошал пустыню поглощая все что осталось от
былых забав
Прошу сюда
здесь тихо и прилично вполне надежно вкусно все свои
солидная швейцарская защита
медикаментов горка как алтарь
Сидит здесь Окуджава
экий Будда
сидит факирствует над химией в очках
стеклянной палочкой тревожит реактивы
с простой улыбочкой тасует порошки
Когда ж Булат вы овладел наукой
в которой лопнул даже Гей-Люссак?
— ДА НЕЛЕГКОЕ БЫЛО ДЕЛО ТОВАРИЩИ!
Едва пристроились и сняли спецодежду
развесили портянки на просушку
открыли банку ряпушки
спиртяшки в стакашку нацедили
колобашку сальца достали из тугой мотни
послышалось вещание по трубам
по фикусу по банкам по плафонам
Прошу подняться
говорил нам голос
прошу не струсить в этот страшный час
прошу желающих на верную погибель
прошу любителей бессмысленных бравад
на Невский вышел леопард огромный
с кривым клыком
отчайный эрудит
он жаждет встреч готов сразиться в споре
по всем проблемам бытия и духа

по коркам по кусочкам и огрызкам
он приближается и клык его горит

НУ ЧТО Ж ТОВАРИЩИ МОМЕНТ ИСТИНЫ
О КОТОРОМ НАС НЕ РАЗ ПРЕДУПРЕЖДАЛА
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
НАСТУПИЛ
ПОЖАЛУЙ НАДО ВСТАТЬ ТОВАРИЩИ
И НАСВИСТЫВАЯ ГЛАВЫ ИЗ ИСТОРИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВЫЙТИ
НА НЕВСКИЙ
ПОЙДЕМТЕ ТОВАРИЩИ
ЕДЫ И БЕЛЬЯ С СОБОЙ НЕ БРАТЬ

СОН БЕЗ СОЗНАНИЯ

В ту ночь мы прибыли под ручку с «Запорожцем»
на вернисаж: в готическом районе Москвы-старушки
в мраморный кабак
Редактор в перуанском рединготе
спортивной талией нервируя столицу
распоряжался расстановкой стульев
и не забыл о кресле для себя
И вот вошел с улыбкою лукавой
товарищ Зерчанинов шеф сенсаций
прошу внимания сказал он хлебосольно
для вас готов хорошенький кунст-штюк
Алонзанфан в предгории Памира
на глубине в пять сотен скотских инчей
живет шаман раввин епископ лама
заслуженный монгольский овцевод
С утра до ночи он толкует Маркса
выпиливает лобзиком рельефы
и медитацией точнее суходрочкой

он заполняет скромный свой досуг
Пройти всего пять тысяч километров
по горным кручам по лавинным склонам
сквозь темный край опасный как Китай
и вы достигнете
Тут с хохотом по желтым коридорам
промчался табунок стенографисток
юбчонки задраны растрепаны прически
размазана помада по щекам
Дает чувак пищали проферсетки
вот это старичок какая скрипка
какой смычок отменная струна
Для членов редколлегии налево
седьмая комната четвертая бригада
шестой барак девятая аллея
восьмая секция для белых
зона «Д»
Директор лавочки позорно ухмыляясь
и вытирая руки полотенцем
кивал налево вот сюда ребята
я сам оттуда сроду наслаждений
подобных не испытывал
духовных
конечно наслажденье не из плотских
лишь радость для ума и для души
Пока мы двигались навстречу из расселин
валил народ с пайками с дефицитом
с сертификатами парными на плечах
За окнами мерещилась поляна
где прыгали стада сертификатов
паслись в оазисе активно поглощая
валютный животворный хлорофилл
Вокруг за стеклами бледнели наши лица
дурел стомиллионный потребитель
аквариум потел от вожделенья

но ветер злости стекла просветлял
Сметем национальные границы
интернациональный покупатель прав
и ничем не хуже
простой бурят мохнатого еврея
а много лучше смею доложить
Меж тем сертификаты нерестились
таких блядей народ еще не видел
которые сулили столько новых
подкожных удовольствий для ума
Мы шли вперед могучий «Запорожец»
прокладывал дорогу буферами
свистел своим воздушным охлажденьем
усаами «дворников» сердито шевеля
Остановитесь верещали птицы
Остановитесь пели нам сирены
К чему вам философия ребята
скрипел хвостом трехглавый пес Кербер
Ведь есть любовь так пела нам Калипсо
Есть паруса так пели аргонавты
Есть родина так пел нам Евтушенко
Мартини есть так пел Хемингуэй
Нет корешá нам истина дороже
к тому же дверь заветная так близко
пройти по Пикадилли пару тактов
на Невский завернуть по Триумфалке
проплыть стеной и перепрыгнуть Шпрее
потом к Никитской сквозь Рокфеллер-центр
потом

Оракул принимает?
Да, конечно! Как доложить?
По творческим вопросам.
Ваш взнос каков?

Не много и не мало

сорокалетний хмырь с малолитражкой
в потертом пиджачишке «либерти»

Прошу, в эту дверь, но учтите, время аудиенции строго
регламентировано, поэтому если у вас возникнет
желание покарать...

— Простите, мисс?

— Вот именно. Если захотите покарать учителя, то
приступайте к делу без проволочек.

Я ожидал увидеть олимпийца
с мордашкой Сартра в бороде Толстого
в сократовском хитоне в листьях лавра
с совою на плече и с травоядной
змеєю мудрости на греческом плече.

Передо мной сидел фашист убогий
эсэсовец Катук-Ежов-Линь Бяо
в обвисшей униформе
с псевдоженским
унылым очертанием лица.

Вся истина в расправе над злодейством?

В попытке пытки

в наказанье болью

в частичном умерщвлении мерзавца
растлителя садиста палача?

СОН О ЛУНЕ

В ту ночь в горах, в заброшенном селенье,
среди сосуллек, хвойных сталактитов
увидел я Луну... она сияла,
нет, не сияла, простенько висела
над головой, как маленькая рыбка,
как розовая рыбка с плавниками,
с простейшим хвостиком и человеческим глазом,

рыбешка была вышита по шелку
товарным мулине, но безусловно
была она Луной и поражала
подобной трансформацией... Я звал
друзей каких-то, чтоб они взглянули
на редкое явление этой рыбки, сиречь Луны,
полночного светила,
друзья не шли, не знаю, что там держало их вдали
от сновиденья...

Я волновался — перистые тучи могли укрыть,
могли бесследно рыбку
укрыть от глаз... тут подошли друзья.
Ну, где же рыбка? тучи закрывали
бездонность неба... где твоя Луна?
Над головами нависали тучи,
исчезла рыбка, но Луна осталась,
она лежала в вате, словно брошка,
как голова искусственного льда
молочно-белого висела над Москвою...
над горною страной иль над Москвою?
Скорей всего, над тем и над другим...
вот вам Луна! хорошая луница!
Дружище безымянный рассмеялся,
подпрыгнул и извлек ее из тучи,
и бросил наземь, и разбилась дуля
на мелкие осколки цвета моря...
цветы июля, жемчуг декабря...
Тогда открылось в вате наважденье —
проем глубокий в темный лунный свет...

СОН О НЕДОСТАТКАХ

В ту ночь в театре на балконе ночи «Севильского цирюль-
ника» давали
И НЕДОДАЛИ!

По зеленым шторам я полз наверх, чтоб в книгу предложений вписать мою любовь, любовь к Россини.

Россини милый, юный итальянец, твоя страна, твои ночные блики, твои фонтаны, девушки и флейты обманом мне НЕДОДАНЫ сполна!

Меня надули явно с увертюрой, мне недодали партию кларнета, в России мне Россини не хватает, и это подтвердит любой контроль!

Милейший Герцен, не буди Россию! Дитя любви, напрасно не старайся! Пускай ее разбудит итальянец, бродяга шалый в рваных кружевах!

Я полз по шторам к вышнему балкону, минуя окна, в коих поэтажно струилась Австрия и зеленело Осло, мерцала Франция и зиждился Берлин.

Внизу добрейший участковый Ваня гулял, лелея меховой подмышкой массивную, как Гете, книгу жалоб, насвистывал пароли стукачам.

А стукачи, отважная дружина, трясли ушами, словно спаниели, скакали грубошерстным фокстерьером, бульдожками разбрызгивали грязь.

А на балконе в театральном громе, среди облаков, над крышами России белейшая, нежнейшая Розина плела интриги сетчатый чулок.

Меня ль ждала? Чего ей недодали? В Италии потребность в коммунизме, по слухам, увеличилась. Марксизмом насыщен, но не слишком, их Пьемонт.

Я удалялся вверх, а КНИГА ЖАЛОБ огромной всероссийской увертюрой гремела под ногами. Битва века там шла уже четырнадцать веков.

Всем недодали что-то. Горожане сушили порох, отливали пушки. Князя ярились. Вилами крестьяне пытались расписаться в книге жалоб. Булыжник корчевал пролетарьят.

Казалось русским: леса недодали, надули с электричеством, с правами гражданскими мухлюет государство, жида таскают материализм.

На самом деле недодали нашим косматым мужепесам итальянку, мажорную стожарную сюитку, дрожащую от страсти в кружевах.

А итальянцам недодали дырна, развала бочкотары, хриплой пасти, шершавого татарского маяла им не хватает к чаю, в шоколад.

И книга жалоб итальянским небом висела надо мной в огромных звездах, и жар Везувия ее подогревал.

Я потерял доверие к пространству, я — таракан — карабкаюсь по шторам, по оперным карнизам, вверх ли, вниз ли, слезу Розину, а она, как в море, скользит челном в парчовых завихреньях, в излучинах парчи теряет слезы...

Гады проклятые, разве не видите — зонтик, рюмка? Не кантовать, мать вашу, не кантовать!

ФЛЕГРЕЙСКИЕ БОЛОТА

*Начало подвальных выступлений
ансамбля «Арсенал»*

где в то утро собралась компания: Порфирион и Эфиальт, Алкиной и Клитий, Нисирос, Полибот и Энкелад, и Гратион, и Ипполит, и Отос...

...и Агрый, и Феон, и сколько нас там еще было, ужасных?
Мы взбунтовались в слякоть, в непогоду
Под низкой сворой бесконечных туч...
Неслись они знаменьями дурными
Над нашим войском. Бандой живоглотов
Казались мы себе, но юность-ярость
Змеилась в наших змеях и руках!

...Мы ждали атаки, грома, диких вспышек и прочих психических эффектов, на которые так падок Зевс,

но все было тихо, бесконечно тихо. Даже не чавкала вода в необозримых Флегрейских болотах. Вот наш мир — необозримое болото, серая вода, серая трава, и здесь мы взбунтовались! Мы стояли и ждали, и нам уже казалось, что ничего не будет, не будет нам ответа, а значит, не будет и бунта, как вдруг в отдалении, где только что никого не было, возник огромный, как дуб, человек, и это был бог. Короткое, как всхлип, рыдание прошло по нашим рядам.

Здравствуй, карательный бог, огромный и золотистый! Несокрушимый, с непонятной улыбкой, ты стоишь под низким серым небом, скрестив руки на груди. Сильно вооруженный, ты не двигаешься с места. Как твое имя, бог? Гефест? Аполлон? Гермес? Мы никогда еще не видели живого бога, пока не взбунтовались, и вот мы видим тебя, карательный неизвестный бог. Почему ты молчишь?

— Вот, — говорил он им откуда-то издалека гулко и трезво, как настоящий классик. — Вообразите улицы Запада перед революцией. Улицы европейских столиц, жужжащие революцией, пицца под острой специей, фунт протухших яиц. Далее — соображаете, ребята? — каждому по бутылке, по бутылке шампанского, «Мумм», каждому по затылку резиновой пулей «дум-дум». Перед нами резиновые революции, шоу ночных столиц, сгустки ночной поллюции, рев электронных ослиц. Теперь возвращаемся в светлый греческий мир, окруженный полным отсутствием цивилизации, то есть мраком. Там тоже было все не очень-то просто. Тантал оскорблял богов и был за это наказан тем, что мы сейчас можем назвать суходрочкой. Деметра же, скорбя по Персефоне, съела плечо Пелопса, и ничего. Дочь Тантала, Ниоба, тоже проявила гордыню (прав был Тараканище — «яблоко от яблони недалеко падает»), а за это Аполлон и Артемида побили стрелами ее детей. Значит, товарищи смело отбросили

принципы бескрылого абстрактного гуманизма, а к формуле «сын за отца не ответчик» в данной ситуации смело подошли как к тактической.

Как видите, чуваки, раздражение против Олимпа накопилось не в один день, и это вы должны знать, когда будете играть тему Неизвестного Бога.

...Вид одинокого среди болот молчаливого бога способен взволновать любого смертного, пусть даже и высиженного матушкой Герой из капель крови Урана. Иным из гигантов уже казалось, что их дикая нелепая жизнь теперь оправдана, когда они увидели одного из олимпийского сонма.

Для чего мы были рождены? Бунт и гибель в нем — смысл нашей болотной жизни. Что же мы не бунтуем дальше? Что же мы дрожим от благоговения при виде первого же бога, бога-разведчика? Да бунтуем ли мы вообще?

...и Агрый, и Феон, и сколько нас там еще было, ужасных?
Мы взбунтовались в слякоть, в непогоду
Под низкой сворой бесконечных туч...
Неслись они знаменьями дурными
Над нашим войском. Бандой живоглотов
Казались мы себе, но юность-ярость
Змеилась в наших змеях и руках!

МЕДИОТЕРРАНО

Похмелье

подобный пене острова Крит хмель закручивал наши шаги по чутким коридорам Ореанды и мы низвергались с мраморных лестниц и совершали пируэты на кафельных полах и врывались в табуны танца шейк и в беско-

нечные сортиры с сотнями писсуаров протянувшихся вдоль неподвижного моря словно строй римских легионеров хмель бешеным глоссером заносил нас в подкову гавани Сплита на полированные булыжники Диоклецианова града и в гости к нимфе Калипсо на ее древние и вечно желанные холмы в библейские долины и романские города под шелестящими лаврами и мы метались на дне кипарисового колодца под чистым темно-зеленым небом между статуями корифеев средиземноморской цивилизации и захлебывались в эту нашу быть может последнюю юную ночь захлебываясь в этой ночи захлебываясь в алкоголе в горячем токе крови в поцелуях

Медвытрезвитель...

НЕ СРАВНИВАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЭТОТ ЗОБ С ПОДКЛЮВНЫМ МЕШКОМ ПЕЛИКАНА, в который нелепая птица складывает жалкий, но нужный ей запасец пиццерыбы. Этот зуб, пятнистый и дряблый, предназначен для коллекционирования наших комсомольских значков!

АХ, КАК СОСТАРИЛСЯ НАШ ЛЮБИМЫЙ НАВЯЗЧИВЫЙ ПРИЗРАК после своей магаданской весны! Как постарела его кожа, его слизистые оболочки, но как сильны еще его руки и как хрустят наши недоразвитые суставчики при затягивании узла на спине!

НЕУЖЕЛИ МЫ УЖЕ В БОЛГАРИИ? ГУТЕН ТАГ, ТОВАРИЩИ БОЛГАРЫ!

Мы стояли жалкой кучкой в вестибюле, а болгарские варианты теснили нас к стене. К стенке их! Сфотографировать по одному! Теперь никуда не уйдут! Здесь не за граница! Здесь Болгария!

ЗНАКОМА ЛИ ВАМ ФОРТЕПИАННАЯ ПЬЕСА «ВОСПОМИНАНИЕ О МОЛОДОСТИ»?

Розовая трава того вечера была, как всегда, неподвижна, а ты все тужился, стараясь вызвать на поверхность хотя бы один мыльный пузырь воспоминания. Между тем воспоминание сидело неподалеку под статуей охотницы Артемиды, в виде скромной старухи, у ног которой лежала маленькая такса, новорожденный львенок. Со всех сторон на нас надвигался огромный вечерний город с его стеклянными плоскостями и головокружительными ущельями, где, как всегда в погожие вечера, кишела предреволюционная жизнь.

МОЙ ЛОБ ШИРИНОЮ В ДВА ПАЛЬЦА, НО МЫСЛЬ ПРИТАИЛАСЬ ЗА НИМ, хищнейшая мысль-недоносок сквозь глазки упорно глядит, сквозь кожу мою прорастает, как полк энергичных стрелков, а уши, антенны радаров, следят за пустыней небес!

О ЕСЛИ БЫ МОЖНО БЫЛО ПРОТЯНУТЬ РУКУ ЛЮБИМОЙ

и увезти ее отсюда на тарыхтящем «Запорожце» и отправиться с ней вместе в Литву, где ты никого не понимаешь и все делают вид, что не понимают тебя. Ехать вдвоем, сидеть рядом в старой удобной одежде, пилить с небольшой скоростью по Минке, а к вечеру сворачивать на проселок, валяться вместе на старом толстом одеяле, трогать пальцами ее губы, брать все ее лицо в свою ладонь, расстегивать ей кофточку и трогать соски, брать крепко ее плечи, брать крепко ее таз и мучить ее с нежностью, с нежностью мучить столько времени, сколько отпущено нам небесами, а после следить слипшимся уже навсегда взглядом за ночной мешани-

ной звезд, слипшимся слухом слушать музыку ночи, тихо говорить ей что-то о прозе, что-то о смерти, что-то о классиках, что-то о Божестве и так засыпать, а утром вскакивать, шутить, похабничать и ехать дальше, имея главной своей и единственной целью — следующую ночевку.

Так путешествовали мы из года в год, так путешествуем мы из года в год, так будем путешествовать мы из года в год, а рожала она, а рожает она, а рожать она будет под кустами, в кюветах, в скирдах. Я принимал, принимаю, я сам буду принимать ее роды, массировать ее вздувшийся и посиневший живот, ловить ртом ее дикие вопли, греть ладонью ее измученные срамные губы, перерезать пуповину, пеленать младенцев и подсовывать их к ней под истощенные бродячей любовью бока. Потом мы оставляли, оставляем, будем оставлять наших детей на вырастание в городах и деревнях Восточной Европы, чтобы они не мешали нашему путешествию, а когда наш путь закончился, закончен, будет завершен, мы собирали, соберем всех наших детей вместе и наблюдали, наблюдаем, будем наблюдать их веселые игры у камина, возле бассейна, на террасе своего прекрасного дома, ибо пришли к нам с годами, ибо есть у нас, ибо придут к нам богатство, старость и покой.

СТАРИННАЯ ИСТОРИЯ

Песенка Патрика Тайджерджета

Старинную историю
Мне передал отец
Про губки леди Глории
И про ее чепец,
Ах, про ее батистовый и кружевной чепец!

— Ах, про ее батистовый и кружевной чепец! — подхватили дети.

Однажды к леди Глории
Зашел Гастон-кузнец,
И вскоре у истории
Увидим мы конец,
Ах, этот чепчик розовый пришелся на конец!

— Ах, этот чепчик розовый пришелся на конец! — грянули хором дети.

Я спел про леди Глорию,
Но я не жду похвал,
Ведь всю эту историю
Нам Чосер рассказал,
Ах, старый Джеффри Чосер, он никогда не врал!

ЛОНДОН 1967

Дети цветов

Суббота — фестиваль всех оборванцев-хиппи!
На Портобелло-роад двухверстные ряды.
Базар
шарманщиков, обманщиков, креветок, проституток,
подгнившей бахромы и летчиков хромых,
авокадо и адвокатов, капусты и алебаstra, мечей
самурайских и крылышек
райских,
орехов и грехов, юбочнок-мини, алкогольной лени
шотландских пайперов, гвианских снайперов,
испанских балахонов и русских малахаев, тибетской
кожи,
арабской лажи

и треугольных шляп
у мистера Тяп-Ляп,
томов лохматой прозы
у мистера Гриппозо,
эму и какаду...
Я вдоль рядов иду,
я чемпионша стрипа —
в носу кусты полипов,
под мышкой сучье вымя,
свое не помню имя...
Здесь пахнет LSD
Смотри не наследид!

ПЛАЧ МАДЕМУАЗЕЛЬ МАРИАН КУЛАГО

Ах, где ты, родина-неродина, далекая и нежная,
метельная
и снежная, в куличиках, калачиках... поплачьте-ка!
О чем ты? О палачиках? О пальчиках? Ах, Геночка!
Расскажи мне об этой далекой неродине, где я еще
не была,
а только лишь слушала в Париже ее посланцев,
стихотворцев и скрипачей,
ах нет, ах нет, не палачей!
таких спортивных мальчиков,
да нет же, не канальчиков!
березовых, весенних мальчиков России, моих мальчиков,
что
живут на огромных просторах моей неродины вдали
от всего мира...
Ты слышишь колокол? Это Воскресенье! Христос
воскрес!
Воистину!

Так Расскажи о мальчиках, угодных Богу зайчиках,
неведомых
мне мальчиках, таинственных и нервных, женатых
сплошь на стервах,
по пятницам в Париже весенней пахнет жижей.
Ой, говорят, они там у вас все страшно ученые, такие
эрудиты,
просто страшно, но почему же тогда рабы, почему трусы?
Ах, елки, елки колкие,
Скажите, как мне жить?
Могла бы комсомолкою
По родине ходить.
Ах, дедушка-голубчик,
Гвардейский офицер,
Зачем ты стал, голубчик,
Врагом Эсэсэсэр?
Куличики, калачики, дешевый кренделек, и петушок
на палочке,
и бабушка в окошечке, и Лавры купола — ведь так?
ведь так?
А ты говоришь, она вся в гусеницах, в грохоте, в мазуте и
солярке... Ты говоришь — на троих, говоришь,
полбанки...
кес ке се?.. Ты говоришь — фрей с гондонной фабрики
и курва
с котелком... кес ке се, кес ке се? Геночка, ответь, скажи
хоть слово! Кес ке се «пистон поставить»?
...Огромная, пустынная, холодная, поземка, поземка
по всей ее широте... Геночка, почему ты молчишь?

**ПЕСНЯ ПРОТЕСТА СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ,
ИСПОЛНЕННАЯ МАШИНИСТОЧКОЙ-
ПАНТОМИМИСТОЧКОЙ НИНОЧКОЙ
ЛЫГЕР-ЧЕПЦОВОЙ**

Властям Претории продажным мы заявляем свой
протест...
арабским воинам отважным мы шлем привет из разных
мест!
Мой милый, ты меня покинул... исчезла юная луна...
и выхожу
я через силу... за космонавта Колтуна...
Мы гневно говорим Лон Нолу — в Камбодже снова будет
принц!..
Мы презираем Гонолулу и всех ночных его цариц!
Мой милый, памяти отравы течет, как черная река...
и чахну я,
как чахнут травы, в наждачных лапах старика...
Позор надменным португальцам!
Успеха копьям ФРЕЛИМО!
В кулак мы загибаем пальцы...
Пантомимо... Пантомимо...

**ПЛАЧ ЛЕДИ БРУДПЕЙСТЕР,
УРОЖДЕННОЙ МАРИАН КУЛАГО**

Была жива Принцесса Греза...
в березках девичья игра...
жива Россия и береза...
в «Березках» водка и икра...
Я стала английскою леди...
но муж мой пьяный так сказал...
тебе бы стать московской блядью...
Казанский украшать вокзал...
Мой муж вернулся из похода...

израненный своей тоской...
все позади — загулы, годы...
полеты пьяного удода...
и в бочке дегтя ложка меда...
Арбат в преддверии восхода...
все впереди, твердит природа...
но жив ли Боже над Москвой?

«Ты подбегаешь ко мне по осенним сумеркам...»

В те годы, когда тайно писался «Ожог», на поверхности я сочинял «ЗОЛОТУЮ НАШУ ЖЕЛЕЗКУ». Эта вроде бы легкомысленная вещь на самом деле преисполнена метафоричности, а ее герои физики преисполнены лирики, то есть метафизики. Действие происходит в научном городке Пихты, в институте ядерной физики с синхрофазотроном; герои ласково называют его «нашей Железкой». Чтобы почувствовать это все поближе, зимой 1969 года я отправился в Академгородок под Новосибирском. Встретился там со своим одноклассником по казанской школе № 19 Роликом Сагдеевым, который за это время стал полным академиком. Он познакомил меня с корифеями, академиком Будкером и академиком Лаврентьевым, а также и с теми, кто помоложе, в частности с доктором наук Захаровым, который был также поэтом, и с доктором наук Виттихом, которого я знал еще по Таллинскому фестивалю джаза, где он фигурировал как свингующий пианист.

Вот от этих персон и потянулись корешки к персонажам ЗНЖ: к молодому физика Китоусову и его Та-

инственной Маргарите, к его старшему другу Павлуше Слопу и к корифею Великому-Салазкину. Появляется здесь также и герой «Ожога» саксофонист Самсик Саблер, и парафраза Алисы из того же сочинения — Наталья Слон. Таким образом возникает связь между засекреченной «нетленкой» и открытым романом, предназначенным для «Юности». Параллельное существование двух вроде бы очень разных, а на самом деле очень близких томов меня почему-то бодрило и интриговало, и в то же время оно сбивало с толку ищущек.

«Юность» в конце концов зарубила «Железку», и параллельность отпала. И то и другое оказалось в так называемых «ящиках стола» и лежало там до начала перестройки. «Ардис», впрочем, вовремя издал и то и другое.

В «Железке» читатель находит множество ритмических и частично рифмованных текстов, роднящих ее с поэтическим карнавалом. В этом сборнике вы найдете фрагменты повзрослевшей и почти «суровой» лирики, отделенные от основного текста и соединенные по жанрам. Желательно чтение вслух.

ДИАЛОГ О СЛУЧАЙНОСТИ

Ты, Рита, подарила мне за эти десять лет столько счастья, но ты, Рита, так мало подарила мне взаимопонимания, ты лишь вставляла в мои монологи ядовитые реплики...

Вот, к примеру, один наш вечер.

Я, КИТОУСОВ. Блаженные мысли нас посещают под утро. Вечер — опасное время для философских забот.

ОНА, РИТА. Глубоко копаешь, Китоус!

Я, КИТОУСОВ. Дымный морозный закат над металлоставом. Химфармфарш вместо облаков. Грозно остыва-

ющие внутренние органы, лиловые процессы метаболизма... а в углу, над елочками, над детским садом полнейшая пустыньность и бесконечная зима... бесчеловечность...

ОНА, РИТА. А ты не графоманишь, Китоус?

Я, КИТОУСОВ. Мысль о случайности рода людского не раз посещала меня в морозные химические вечера. Случайные чередования слов и нотных знаков, случайное пересечение путей, случайность нашей орбиты, одни случайности, без всяких совпадений... зависимость от бесконечной грозной череды случайностей... взрывы на солнце и вирусов тайный бессмысленный нерест, случайные сговоры и ссоры, коррозия отношений, зыбкость биологической пленки — ах, друзья, случайность и зависимость от нее угнетают меня в такие сорокаградусные вечера.

ОНА, РИТА. Ребята, больше Китоусу не наливайте.

Я, КИТОУСОВ. Впрочем, ночью где-нибудь в уголке твоего организма может пройти какая-нибудь случайная реакция, и ты проснешься Светофором Колумбом, Фрэнсисом Ветчиной или братанами Черепанами и по дороге на работу, по хрустящему песочку, по пушистому лесочку, среди красноносых живоглофов, среди вас, ребята, среди порхающих удофов, тетеревов и снегирей, среди анодов и катодов, жуя хрустящий сельдерей, идя по насту шагом резким и подходя к родной Железке, ты забываешь вечерние энтропические страдания и думаешь о будущем, где исчезнет власть случайностей, где все будет предопределено наукой — все встречи, разлуки, биологические процессы, открытия, закрытия, творческие акты, где все будет учтено, весь бесконечный, грозный ныне, вызывающий мистический страх конгломерат случайностей, где люди будут жить, сами того не подозревая, под зорким оком и с надежным набрюшником Матери-Науки.

ОНА, РИТА. Я бы удавилась в таком будущем, Китоус.

Я, КИТОУСОВ. А ты, Рита, даже и знать не будешь о набрюшнике, ты даже не заметишь, как под влиянием антислучайной регуляции изменится в разумную сторону твой характер, и ты даже не будешь перебивать своего вдумчивого мужа ядовитыми репликами. Ты не будешь столько курить и презрительно букать своими губками, ты будешь преклоняться перед своим избранником и сольешься с ним не только физически, но и духовно, и даже не будешь мучить себя вопросами: «Почему я с ним слилась?» — сольешься, и все. И уж, конечно, ты, Рита, не будешь уделять в самолетах столько внимания случайным, именно случайным, попутчикам, быстроразыжим верхоглядам, у которых ротовая полость похожа на шейкер для смешивания небезвредных коктейлей.

ПИСЬМО К ПРОМЕТЕЮ

Скрипнув зубами, я написал под анкетой журнала «VOGUE» свою сигнатуру, вложил анкету в именной конверт, приклеил марку «Семидесятилетие русского футбола».

Проклятая марка без всяких оговорок и намеков говорила, вернее, даже не говорила, а вопила об углублении синусоиды кью в противозвездном противолунном кабацком пространстве.

$$\Delta \int_{(\infty)^{\circ}} \alpha \infty \int \max x \sum_{k=1}^{\infty}$$

О боги Олимпа! и ты, Прометей, кацо, душа лубэзный, за что мне такие муки? и неужели

$$\int \Delta \sqrt{\sum_{v=1}^k} A_{Vol} \quad V_0 = 4 \lambda \dots \times \lambda$$

ненный сейф в родной Железке, в которой я плюю на все анкеты журнала «VOGUE» и «Литгазеты» унылые вопросы оставляю за проходной и шлю тебе привет, вот эту птичку



НОЧНАЯ ГОРЯЧАЯ КОЛБАСА

Второе письмо к Прометею

Да, несколько лет назад в ночь со вторника на среду я ел горячий вурстль на Кертнер-штрассе в ста метрах от правой ступни собора Сан-Стефан.

Я ел без всяких особенных причин, а просто потому, что хотел есть, и мазал свой вурстль сладкой горчицей, а на немецкие шутки ночных девушек, собравшихся у палатки, я, клянусь Артемидой, не отвечал.

Да, ты, Прометей, тогда проезжал мимо на велосипеде и долго на меня смотрел своими черными глазами, но я сделал вид, что тебя не заметил, душа лубэзный. Я знал, что ты скрываешься и выдаешь себя за уругвайца и что велосипед у тебя прокатный из Луна-парка, но я не окликнул тебя и не предложил тебе помощь. Напротив, я перевел взгляд на собор Сан-Стефан, покрытый вековой плесенью, которая так чудесно серебрится под луной. Ты знал, что я тебя увидел, и я знал, что ты знаешь, но что я мог поделаться, Прометей, ведь в эту ночь мне нужна была помощь Олимпа.

Да, батано, в ту ночь я ненавидел. Я вспоминал все раз за разом, с каждым кусочком вурстля в меня вливались горькие воспоминания.

Она была зубрилой и училась на факультете славянской филологии. Годдем, цум тойфель, рекутто рекутиссимо, обречь себя на прозябание в затхлом пакгаузе филологии, да еще не просто филологии, а какой-то отдельной, герман-

ской, славянской, романской!.. И это вместо того, чтобы плыть в бескрайнем серебристом океане чистого Логоса, уповая на свою отвагу, на шест своего интеллекта, уповая...

Извините, говорила она, графин подслушивает, и вешала трубку. Она снимала комнату у графини Эштерхази. Ах, генацвале, это повторялось каждый вечер. Вот они, результаты филологического образования: не знать разницы между графиней и графином и обращаться на «вы» к желанному, ненаглядному «ты».

Я ненавидел графиню Эштерхази с ее папильотками, веерами, с ее родинками и декоративными собачками. Милый друг, вот моя страшная тайна — я ненавидел человеческое существо!

Позволь мне высказаться до конца, ведь я не Раскольников, а она не процентщица, однако... в голове моей теснились мысли о высылке «графина» из города под предлогом борьбы за окружающую среду или о сведении ее к нулю посредством простейшего рассечения бинома Фостера через

$\frac{03}{27} \text{ или } \sqrt[5]{\text{зсс}}$ * $\frac{xz}{\text{вез}}$ $\sum_{\text{та}} 0!$ ТЫ МЕНЯ ПОНИМАЕШЬ...

ТАЕЖНЫЕ И ГОРОДСКИЕ ТАЙНЫ

Клякша

Будто бы жил когда-то в северо-западном болоте некий медведь-мухолов по имени Клякша. Зверь имел огромный рост, каленый коготь, моторный рык, но, что характерно, никого не задевал, окромя, конечно, вкусных болотных мух да ягод.

Будто бы однажды соседский охотник Никаноров встретил медведя Клякшу в густом малиннике и чуть не помер со страху. Якобы сидел Клякша толстым задом на мягкой кочке и смотрел на Никанорова через много-

цветное стекло, которое держал перед собой в передней лапе. И, что характерно, увидел Никаноров за стеклом переливчатый огромный глаз, явно не медвежий, да и не человеческий. Никаноров шарахнул по красавцу глазу зарядом дроби и отвалил копыта. И вот что характерно, товарищи, опомнился мастер пушной охоты уже в избе, на своей лежанке, и ему никто не поверил, потому что будто бы выпивши. К сожалению, пьющему человеку у нас не всегда доверяют, вот что характерно.

ГОРЮНЫ

И вот что безусловно характерно, появилась на горизонте девушка Любаша. Она, сия Любаша, проживала в соседнем селе Чердаки, и ее в дурной манере обидел инспектор по госстраху Заяцев, а ей, конечно, был мил летчик Бродский Саша. Отсюда возникла большая трагедия, и тихой красавице нашей опостылела жизнь. Эх, много в мире еще не изученного! Лишний раз убеждаешься, когда узнаешь, что пропадают в общем-то привлекательные девчата.

Так Любаша удалилась в гиблые края, на восток, через клюквенные поля, в таежную плесень. Ушла на расвете, а очнулась на закате, лежа в красивой, но безнадёжной позе среди дикой, страшной природы: ужасные корни с кусками глины раскачивались перед ней, вывороченные валуны громоздились нелепицей вокруг, гибло отсвечивали на тусклом закате огромные белые кости — позвонки, ребра и прочее. Доисторическая нижняя челюсть, например, возвышалась, как арка. Не может такого быть, чтобы и кости эти когда-то питались млеком, подумала девушка, содрогаясь. Пейзаж был почти что адский, эдакий предадник, раздевалочка. Горько пожалела тогда Любаша свою молодую суть. Экую мелкую тварь Заяцева вознесла до уровня мировой трагедии. Прощай

теперь, Бродский Александр, ты даже не узнаешь о моем чувстве в своем пятом океане. Ах, есть ли на свете горше картина, чем рыдающая перед гибелью красавица?

И вот что характерно, в последний, можно сказать, момент появились вокруг Любаши цветы-горюны. Никто де-вушке этого названия не сказал, и раньше она его никогда не слышала, а только сразу поняла, что вокруг плавают и порхают волшебные горюны. Те, что горе снимают.

Цветы эти имели от земли некоторую независимость, ибо в любой момент от нее отрывались, чтобы закрутить вокруг печалицы хоровод. Они плавали в воздухе, как тропические рыбы, и сияли глубинными незнакомыми красками. Они трепыхались и наполняли округу тайной, веселой и вечно молодой жизнью. И вот они быстро внушили Любаше прежнюю нежную радость, и она поверила, что суженый ее ждет и простит ей потерянное колечко в счет будущих изумрудов.

Что тут правда, где брехня — разобраться трудно, но вот что характерно: Любаша Бродскому семь деток родила и получила материнский знак отличия.

Странные эти рассказы могут натолкнуть и на странную мысль: не испарилась окончательно энергия космического корабля, а где-то бродит в окружности и даже реагирует на события в мире людей.

Конечно, вздор, конечно, нонсенс, конечно, абсурдистика, но пусть присутствует здесь эта мечта хотя бы как вздор, как нонсенс, как нелепая фантазия. Автор, если угодно, и на себя грех возьмет.

Автор, как темный человек, верит во все туманное: и в летающие тарелочки, и в морское человечество — дельфинов, и в Атлантиду, и в месопотамские столбы, и в перуанские окружности, а уж тем более как ему не верить в свои собственные «пихты», «горюны», «Клякшу»?

КАРМЕНСИТА

Прошу почтеннейшую публику на представление! Как несравненная Грейс Келли полюбила нищего князя Монако и что из этого вышло! Заглатывание кавалерского меча в четыре приема! Комментарии на европейских языках! — так возвестил факир Люций Терентьевич Флюоресцентов.

— Ах, вздор! Вот уже сто лет одна и та же программа, — вздохнули в публике.

Плесенью, дешевой пудрой, лежалыми марципанами пахло за кулисами полотняного цирка, где старый лев, лежа на расползающемся пузе, ел мохнатой лапой трепещущую курку и где на опилках, пропитанных острой, как нашатырь, мочевиной, пожилой мальчик пан Пшекруй бардзо добже репетировал древнюю гуттаперчу.

Вот как бывало по ночам на площадях и в глубинах старой Европы, где славянское и немецкое порой переплеталось в бронзовых позеленевших скульптурах и тоненькие струйки всю ночь тенькали в городских фонтанах для поддержания захолустного чувства земного рая.

За шторкой, откуда сквозил лунный свет серебряного века, хоть и далеко, но отчетливо — и, конечно, с балкона, и, конечно, в одиночестве — весело и самозабвенно развлекался саксофон.

За шторкой оказался просто-напросто кусок любимого города, тот, что мокнет на задах Александринки в самом горле улицы Зоднего Росси.

— Маэстро, уберите ваш пожелтевший веер из страусиных перьев, за которым возмущенно гонялся еще колонель Биллингтон в те дни, когда лопасти первого полезного парохода так обижали непривычных крокодилов реки Заир и когда мужчины подпирали свои клубничные щеки только что синтезированным целлулоидом и подкручивали кончики усов, подражая последним Гогенцоллернам и первому князю из дома Фиат, — и дайте пройти, маэстро!

- Ох уж эти нафталиновые фокусы в наш век стерео!
- Нонсенс!
- Не верю!
- И все-таки приятно — согласитесь!

Могучий дом шестью этажами зеркальных окон смотрел на них, как живой. Он был высокий и узкий, живой и добрый, и над полукруглым своим ртом он имел усы, сплетенные из наяд и винограда, и сквозь шесть этажей своих современных, цейссовских, немного опять же старомодных, но надежных стекол он смотрел на подходящую трицу с привычным радушием.

Сначала она (уж не та ли, что мы ищем столько лет?) мелькнула в окне верхнего этажа. Так быстро, что они и разобрать ничего не сумели, просто почувствовали ее присутствие. Промельк повторился на пятом, но уже как видимый язычок огня. И вдруг на четвертом, в третьем от края, явилось во все стекло ее лицо, и было оно в этой простой оправе таким простым, таким женским, что, глядя на него, и в самом деле не до подвигов и не до славы. Увы, сей миг был хоть и незабываемым, но мгновенным, и вновь по этажам замелькало: пламя, плечо, локон, кисть, шаль, блаженная шаль, проклятые жемчуга... Как будто в доме этом живом нет ни потолков, ни стен, ни паркета, таким свободным, трепетным и страстным был ее танец, пока не пропал. Все пропало, и дом смотрел теперь на них своими цейссами, как задумавшийся профессор. Все было безмолвно, если не считать шалого саксофона. Тот развлекался неизвестно где, в пространстве другого века.

Они уже стали скорбеть о пропаже, когда в подъезде заскрипели двери мореного дуба и в глубине черноты явилась она во весь рост.

Как эти трое боялись насмешки! Но она не смеялась, а скорее была драматична, словно меццо-сопрано. Она приблизилась и встала уже на крыльцо в своем платье и в шали,

чей узор был составлен из черного и красного, и красный цвет был глубок, а черный был спящ среди ночи...

Лишь бы не расхохоталась, молили они... Она не расхохоталась. Она лишь подняла руки к плечам, и невидимый швейцар опустил на плечи белое. Еще мгновение, и все исчезло в белом, и уже не женщина, а кокон, дурман раскаленного Самарканда быстро скользнул с крыльца и растворился в глубине улицы Зодчего Росси, которая замыкалась, как ни странно, мечетью Биби-Ханым, а дальше в провалах уже клубилась азиатская пыль, простиралась древняя щебенка на тысячи миль...

ПЕРФОКАРТЫ СТАРИННЫХ ЭВМ

Перфокарта № 7

В одной из брызг, застывшей на мгновенье,
мы увидели скаты водопада,
сухой земли унылый катехизис,
уступы гор и рыжую саванну,
гортань скворца
и драку скорпионов,
набег валов на океанский берег,
пятно мазута, молнии кустистой
разряд в ночи над Южно-Сахалинском,
над Сциллой и Харибдой...
К Геллеспонту стремниной узкой
ящик из-под мыла
бесстрашно мчался, возбуждая воду
к процессу стирки,
словно сам был мылом...
пока не скрылся в синих пузырях...
(Потом все скрылось.)

Перфокарта № 18

В брусниках, в лопухах,
в крапивном аромате,
в агавах и в шипах
шиповника и роз,
в тюльпанах, в табаке,
в матером молочае,
в метели матиолл,
как некогда поэт,
как некогда в сирень,
и в желтом фиолете,
желтофиолей вдрызг,
как некогда дитя,
расплакался старик,
тугой, как конский щавель,
Кохана, витер, сон,
Их либе, либе дих...

Перфокарта № 37

Ты подбегаешь ко мне
по осенним сумеркам после дождя
на пустынной улочке готического града
ты подбегаешь
а за спиной твоей
башня и холодное небо
а между нами лужа
с этой башней и этим холодным небом
ты подбегаешь
и вот уже рядом со мной
твой золотой мех и бриллиантовые волосы
и встревоженные глаза
и мягкие губы
ты моя девочка

моя мать
моя проститутка
моя Дама
и ты уже вся разбросалась во мне
и шепот и кожа и мех
и запекшиеся оболочки губ
и влажный язык
и никотиновый перегар
все уже на мне
все успокаивает меня
и засасывает в воронку твоего чувства
в холодной Центральной Европе
в ночной и не ждущей рассвета
в пустынной просвистанной ветром
нас только двое
и автомобиль за углом
теперь мы поедem по сливовым аллеям
и будем ехать всю ночь
и голова твоя будет спать у меня на коленях
под рулевым колесом
всю ночь под тихое рекламное радио
вдвоем под шепот печальной Европы
сквозь сливовую глухомань
вдвоем
но ты все подбегаешь
и подбегаешь
и между нами все лежит
лужа
с башней и куском холодного неба

Перфокарта № 14

Да нелегко должно быть разыграть Гайдна
в этом безумном городе в разнузданном
Средиземноморье. Собраться втроем и

зажечь над пюпитрами свечи, сесть и
заиграть с завидным спокойствием и
даже мужеством
«Трио соль минор», то есть сообразить на троих.
В безумном городе,
где «стрейнджеры в ночи»
расквасят морду
в кровь о кирпичи,
приплыл на уголочек
с фонарем
кудрявый ангелочек
с финкарем.
В порту была получка...
Гулял? Не плачь!
Спрошу при случае
Хау мач?
Ты видишь случку
Луны и мачт?

Мы машинисты, а мы фетишисты, мы с перегона,
а мы с перепоя, прокурились, пропились, голоса потеря-
ли, теперь и голоса не продашь за христианских демо-
кратов.

Между тем они собрались: Альберт Саксонский — ви-
олончель, Билли Квант — скрипка и Давид Шустер —
фортепиано, и начали играть.

И их любимый Гайдн был сух и светел в своем настоя-
чивом смирении.

Как чист, должно быть, был камень вдоль реки, все
эти немецкие плиты, вылизанные дождями, как кость язы-
ком старательного пса, и подсушенные альпийским вет-
ром, как чист, должно быть, был этот камень, когда по не-
му прошел Гайдн, стуча чистыми поношенными, но очень
крепкими башмаками и медленно мелькая белыми шер-
стяными чулками:

А я работала
по молодежи,
на «Беркли» ботала
всю ночь до дрожи.
Агент полиции,
Служанка НАТО!
Дрожа в прострации
крыл хиппи матом.
Опять вы, факкеры,
Вопите — Дэвис!
А в мире фыркают
микробы флюис!
Агента по миру
пустили босым,
от смеху померли
молокососы.
Искали стычки
Мари с Хуаном,
в носы затычки
с марихуаной...
Толкнул гидальго
Герреро в спину,
торговца падалью
и героином,
потом кусочники
на «кадиллаке»
меня запсочили
в свои клоаки.

И нагулявшись до посинения носа, он, Гайдн, входил в кондитерскую Сан-Суси, чтобы съесть солидный валик торта, запив его жарким глинтвейном, что пахнет корицей и ванилью.

Затем хозяйка, пышная Гертруда, в лиловой кофте прятая дыни и в черной юбке — кремовую арку ворот

немецкого сладчайшего Эдема, за ширмой покровительствовала Гайдну.

А вслед за тем помолодевший Гайдн просил свечу и прямо там, за ширмой, записывал остатками глнтвейна финал концерта в четырех частях.

И старческий здоровый желтый палец, так гармонично чувствуя природу, уже предвидел нынешнее трио в безумном пьяном горе-городке.

Альберт Саксонский, Билли Квант и Шустер Давид Михайлович играли с вдохновением и с уважением выслушивали поочередные соло и вновь самозабвенно выпиливали и выстукивали концовки печальных, но жизнеутверждающих кварт.

Все четверо были очень пристойны и специально для этого вечера одеты в рыжие от старости фраки и ортопедические ботинки. Никто из четверки не носил модной в то пятилетие растительности, за исключением Шустера с его ассирийской пересыпанной нафталином бородой.

Мы говорим «четверо», потому что трио едва не перерастало в квартет, к свече просилась флейта, и временами незримый коллега, тоже вполне приличный и печальный, подсвистывал на флейте. По вольности переводчика вокруг мансарды бродил Вадим, да-да — Вадим Китоусов.

Они ни к кому не обращались своей музыкой, но втайне надеялись, что не звуки, а хотя бы энергия звуков проникнет сквозь бит и пьяный гогот обобранных матросов тралового флота в подземный полусортир-полубар под железным цветком МАГНОЛИЯ, и там одна из девок в лиловой кофте и черной юбке почувствует своими высохшими ноздрями запах Гайдна, глнтвейна с корицей и ванилью, и во дворе притона прополощет рот и примет аспирину,

и выйдет в слякоть, в тот водоворот, где пьяные испанцы, негры, греки, шестого флота дылды-недоноски,

шахтеры, жертвы дикой «дольче виты», растратчики в последних кутежах —

все носятся от столба к столбу, от автомата к автомату, торопясь влить в себя что-нибудь и конвульсивно сократиться... и каждый встречный гадок, но каждого можно умыть Гайдном и пожалеть.

О нет, она не будет их жалеть — хватит, нажалелись! — а жалости женской достойны лишь самые храбрые, те трое — Альберт Саксонский, Билли Квант и Шустер — и четвертый невидимый.

Для того-то они храбреют
с каждым тактом,
с каждой квартой,
с каждым вечером на чердаке
и наливаются отвагой,
как груши

дунайским соком,
вот уж третий век
для жалости.

Ищи мансарду нашу,
ведет тебя Вадим,
Там трое варят кашу,
Четвертый — Невидим.

Задами рестораций,
скользя по потрохам,
пройди стену акаций,
тебя не тронет хам.

А тронет грязный циник —
пером пощекочи
и в занавес глициний
скользни в ночи.

Откинь последний шустик
пахучих мнемосерд...

...В окне малютка Шустер

и крошечный Альберт,
Миниатюрный Билли,
игрушечный рояль...
Ах, как мы вас любили —
и как вам нас не жаль?!

Так им хотелось, а на самом деле она давно уже спала на драном канаве, которое много-много лет назад ее дедушка, учитель сольфеджио из Тироля, изысканный и печальный бастард-туберкулезник, привез сюда, в субтропики, называя его семейной (у бастарда-то!) реликвией.

Она спала всем своим блаженным телом, блаженная лоснящаяся выдра, просвечивая гладкими ключицами сквозь лиловую сетчатую шаль и завернув бедра в черное и лоснящееся подобие бархата.

Может быть — пожалеем все-таки музыкантов — может быть, в этом глубоком сне ей казалось, что на краешек канаве присел ее прапрадедушка Гайдн и тихо гладит ее лицо своей большой губой, похожей на средневековый гриб-груздь из Шварцвальда. Во всяком случае, она спала, а Альберт Саксонский, Билли Квант и Дод Шустер

заканчивали
концерт
с редким мужеством,
с вдохновением,
с уважением и благоговением,
с высокой культурой, без всякого
пижонства
и лишь с самым легким привкусом
ожесточения в последних тактах
.....

Перфокарта № 105

Волшебный Крым! Там в стары годы,
Как нынче, впрочем, как всегда,
Сквозь миндали неслись удоды,
Сквозь пальцы уплывали годы,
И Поженян, как друг свободы,
Взывал: гори, моя звезда!
И провожали пароходы
Совсем не так, как поезда.

Перфокарта № 71

Когда ты болеешь, город становится отвратительным.
Весь ренессансный город от врат его до укромных
фонтанов,
от куполов до мраморных плит,
и далее парк, где шумит лигурийская ель,
и даже харчевни, где пьют ароматнейший эль,
и даже сладкий кондитерский дым
становится отвратительным.
Когда ты болеешь, день становится тошнотворным.
Небо, как прокисший творог, не превратившийся в сыр,
ветер, как жирный, лоснящийся вор,
птицы и провода, как клочки бессмысленных нот
бездарной додекафонии...
и пляж вдоль реки, как ошметки погасших жаровен,
и звук лирический, полдневный блюз
суть дым химический, бензинный флюс.
Когда ты болеешь, когда ты лежишь, перепиленная
болью, под мостом Бонапарта Луи,
течение реки кажется мне преступным...

ЛИРИКА, ЦАПЛЯ И ТРЕТЬЕ ПИСЬМО ПРОМЕТЕЮ

Я умирал от полного расстройства как гладкой, так и поперечно-полосатой мускулатуры, а в небе в овальном окне среди хвойной пушнины покачивалась белочка, по-английски сквиррел.

Сквиррел, сквир-р, скви-и... — очень точный звуковой эквивалент, словно древнего происхождения. Белка, белочка — это ласкательное скольжение снаружи по нежному пуху. Сквиррел — внутренний звук, заявка на жизнь беззащитной маленькой твари.

Я умирал ежедневно и все время смотрел на свою сквиррел и однажды увидел любопытную, иначе и не назовешь, картину. Сквиррел сидела у меня на груди и ела мое горло. Боли я не ощущал, но отлично видел происходящее как бы со стороны. Тогда из-за долгого лежания в больнице со своим умиранием я уже неплохо стал знать анатомию и видел, как сквиррел мелкими укусами снимает кожу и апоневрозы, как оголяется гортанный хрящ, а рядом пульсирует толстая артерия.

Вот она, милая моя, ласковая, пушистая сквиррел, думал я, сейчас она куснет артерию, и тогда я весь выльюсь на простынь и отпаду. Я думал об этом спокойно и даже с некоторым лукавством — выльюсь и отпаду. Было ли это геройством?

Я даже перестал обращать внимание на тихо копошащегося грызуна, и другое размышление овладело мной.

Я отпаду, а другие уйдут дальше. Это ведь выглядит так, а не иначе?

Я вспомнил, как однажды в потоке машин поворачивал с улицы Горького на бульвар и проехал мимо дома, где ранее жил умерший товарищ. Именно это чувство всегда присутствовало во мне: он отпал, бедный мой друг, а мы ушли вперед. Не так ли? И вдруг при виде дома

с широкими окнами, с толстым стеклом, витой решеткой балкона и кафельной плиткой меня пронзило совершенно новое ощущение — а вдруг это он нас всех опередил, он ушел вперед, а мы — на месте?

Вот это ощущение и страх перед рывком вперед в одиночестве, без товарищей, как ни странно, заставили меня стряхнуть с груди малышку сквиррел и сильным движением ладони привести в порядок свою гортань.

ВЫСОКАЯ ЛУНА

Эх, милая девочка моя, да ведь это же для тебя, для тебя, для тебя так высоко, высоко, высоко забралась луна!

Вот ты сейчас сидишь передо мной за пиршественным столом, такая спокойная, такая уверенная в себе... такая научная леди, спокойная и холодная, немного усталая, усталая красавица, ничем тебя не проймешь, но вдруг какой-то поворот головы — и мгновенный ветер скользнул по зеркалу, и сквозь мгновенную рябь проглянула та девочка с шалыми и неуверенными глазами, та, что бежала когда-то, засунув кулаки в карманы курточки, мелькала вдоль садовых решеток и застывала в тени колонны, стены, ниши, подворотни, развесив рыжие патлы, словно Марина Влади.

Ты помнишь, как в нашей бухте сонной спала зеленая вода? Помнишь, как по Фонтанке, под этими горбатыми мостами, проплыла колдунья с шестом? Да, это для нее и для тебя сейчас так высоко, высоко, высоко забралась луна!

А помнишь, милая, все эти побеги с лекций над огромной тяжелой водой... ты помнишь, там вдальеке, за мостом лейтенанта Шмидта, стоял британский авианосец, а мы бежали, не помня себя, со свистом по Литейному на нео-реализм... ведь мы смотрели с тобой раз пять, не меньше,

«Рим в одиннадцать» и долго после делили наши сигареты, как Раф Валлоне и Лючия Бозе...

Что? Это было не с тобой, ты говоришь? Ты говоришь, я тебя с кем-то путаю? Я поднабрался, ты говоришь? Все равно это для тебя так высоко, высоко, высоко стоит нынче луна!

ТРАМВАЙ 43-го ГОДА

— Я помню разболтанный, мотающийся из стороны в сторону вагон трамвая. Четыре мощных парня в пилотских куртках курили на задней площадке. Трамвай был убогим, без единого целого стекла, и грохотал он по убогой улице, где сквозь ржавые и гнутые прутья садовых решеток, сквозь смиренно тлеющий осенний парк сквозили кирпичные стены смиренной, иждивенческой скудости, тихого угасания, заброшенности. На меня всегда навевала тоску эта улица, но парни шумно курили крепчайший табак и топали отменными сапогами и каждым своим движением как бы говорили мне, хилому школяру: «Не дрейфь, перезимует, не угаснем», — а потом они вдруг стали выпрыгивать из трамвая, не дожидаясь остановки.

— Давай, Ермаков! Вали, как из «Дугласа»! — И пошли один за другим.

Не потому ли, дорогая, что жизнь пошла наперекос? Нет. Просто. Ночью. Ветер. Мая. Шальную ласточку принес. И сдвинулись мои устои, в порт прибыл лайнер «Кавардак», в лесу турусы на постое, а в чайнике кипит коньяк, летит мой конь с рогами яка, в театрах бешеная клака, ответы ищет зодиак, бульваром рыщет Растиньяк, а я всю ночь в непонятном волнении.

— Все жаждут крови, даже дамы, — вопросительно утвердил на столичном углу среди затихающего провин-

циального бургана Мемозов одинокой красавице в лисьих мехах и янтарных ожерельях.

Таисия прежде супруга сняла гипс и сросшейся помолодевшей рукой произвела с собой невероятное: завивку, подкраску, опрыскивание и вскоре неузнаваемой некрафайловской красавицей выплыла в свирепеющий пурган.

— Халтур-ра! — прокричал в вентилятор ворон Эрнест, но оттуда лишь загудел ветер в ответ, а по мусоропроводу пролетела и кокнулась в ночи одинокая четвертинка.

В разгаре пира — помните? — Наталью перерезала пополам почечная колика...

«Когда ты болеешь, когда ты страдаешь, когда ты плачешь без слез, когда ты кусаешь губы...» — продолжал работать поэт-компьютер в Европейском институте ядерных исследований на окраине Женевы.

Когда, когда, когда... Невразумительные строки перелетали из Швейцарии в Пихты и обратно. Заело!

Что я увидел? С чем я прощаюсь навсегда? Я увидел мой город, знакомый до слез... Я увидел темный силуэт города меж двух морей, над светлым морем и под светлым морем, и в верхнем море, в светлейшем золотом море моей юности над Исаакием, над шпилем Адмиралтейства, над Водовзводной башней, над Нотр-Дам и над Вестминстером, над Сююмбеки и Импайром слезинкой малою светилась моя летящая звезда.

Я увидел со дна колодца гигантскую плоскость уже по-ночному светящегося стекла и бронзовую толсторукую фигуру ангела, а над ними лоскут моего пьяного полночного неба, и в нем светилась моя летящая звезда.

Я увидел кипень ночной листвы на пустом трамвайном углу и асфальтовые отблески юности, я увидел стук собственных шагов, я увидел свой меланхолический свист про грустного бэби, который забыл, что есть у тучки светлая изнанка, я увидел тихий шум удаляющегося под мигалками автомобиля, и там, в перспективе улиц, в пустом морском небе, я увидел ее смех, и щелканье каблучков, и летящую ко мне несравненную невидимую красавицу.

О, Дабль-фью!

А еще прежде была Лилит, рожденная из лунного света!

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО К ПРОМЕТЕЮ

О Прометей, я знаю, как труден твой путь на Олимп и как плечи твои отягощены плодами Колхиды! В те дни проколы в шинах и пересосы в карбюраторе вконец извели нас, и жгли ссадины, и кровь сочилась сквозь слишком тонкую для титанов кожу, но ты, привыкший к истязаниям орлов в ущелье, генацвале, ты шел вперед, таща, кроме венца тернового, еще венец лавровый и две покрышки на своих плечах, и утешал нас всех надеждой на краткий отдых там, где сейчас большой мотель, там, в Македонии на перевале!

Какой пример являл ты нам, кацо, когда вдруг увидели за перевалом ожившую картину Анри Руссо «Война»: разброд телесный, вывернутые ноги, и черные листья, и черные санитары войны — вороны, в том мире страшном, где как будто бы забыли, что в силу теоремы Гаусса в сочетании с «Диалогами» Платона мы испокон веков имели

$00(M_0) и \sqrt{\frac{M}{n}} \int \frac{FORUM}{G} \int 0, LADY!$

И в ключьях дыма рыжего ты нас, Аполлинариевичей, вел сквозь всю картину, чтоб мы еще смогли увидеть в холодном синем небе родную улетевшую Железку, и потом, Прометей-батано, в благодарность за вечное мужество мы преподносим тебе на шампуре вечного логоса дымящийся приз — вот этот шашлычок:

- XYZ - YXZ - ZYX -

всего лишь три кусочка, батано, но извини — сейчас не до мясного... адью... пиши... я жду...

...Война промчалась, бешеная девка в обрывках комбинации на черной лошади по трупам, размахивая жандармской селедкой над головой, и стук ее копыт, и идиотский хохот, и свист меча в конце концов затихли в каких-то отдаленных палестинах, а я очнулся.

Я потрогал свой лоб, ощутил под кожей лба лобную кость, я потрогал нос и ощутил под пальцами кость и хрящ, я потрогал низ своего лица и вспомнил, что нижняя челюсть в юности называлась *mandibula*, и я возил ее в трамвае на урок, на коллоквиум, на зачет, на морозное крахмальное судилище госэкзамена, и она погромыхивала в портфеле вместе с фибулой, и тибиа, и лямина кривроза, и еще с десятком других человеческих костей. О, как прост в те дни был мир, а я еще не имел ни малейшего понятия о рибонуклеиновой кислоте!

...Рибонуклеиновая кислота? Ерунда! Мне ее вливали. Зачем? Для профилактики. Каков состав? Пожалуйста — шампанского сто граммчиков, тридцать граммчиков водочки, облепиховый ликерчик, лимонного сочку пару ложечек, портвейну таврического энное количество — та-

ково «карузо», ярмарочное колесо, коктейль, сиянье молодежной жизни. Ты лыбишься? Значит, еще жив. Вставай, чего лежишь — простудишься!

...Я покупаю за рубль музей фарфора плюс кружку пива в комплекте. Теперь я хожу с кружкой пива, ищу любителя, потому что мне нужна путевка в санаторий — устал. Пиво расплескал, продал музей фарфора, купил путевку в комплекте со шпулькой ниток. Теперь живу на всем готовом, ничего не покупаю, а нитки подарил искателю ниток. Гори все огнем — я не заколдованный!

...На поле битвы лег туман, а снизу просочилась влага. Я все еще лежал и улыбался за порогом боли, и за порогом страха, и на пороге сизой смерти.

Вот что-то зашлепало, мерно и медлительно, но с неожиданными замираниями, с неожиданным глупеньким смущением, с подгибанием нелепой ножки, с робким покачиванием. Падали капли с клюва на падаль... миг — тишина... еще один осторожный шаг, тишайший разворот крыла, как будто пальцы, сведенные уже страстью, но еще стыдящиеся, тянут длинную молнию на спине.

«Какой же русский, спросим мы, не любит “Жигулей” с похмелья...»

Зимой 1980-го мы сидели с Майей на даче в Переделкине. Огромные сосульки занавешивали окна всех трех комнат. Хорошо, что я эту дачу в свое время купил, а не получил от Литфонда: после выхода из СП меня бы из литфондовской дачи вышибли. Впрочем, и после могут вышибить. После суда. Если в приговоре будут строчки о реквизиции нажитого нечестным путем имущества. Значит, надо сидеть и писать пьесу, в том смысле, что надо успеть написать пьесу.

Пишу что-то чеховианское. У него поместье, а у меня дом отдыха «Швейник», но размещенный в том же поместье. У него Треплев, а у меня советский международник Моногамов. У него «Чайка», а у меня «ЦАП-ЛЯ», летающая швея.

За нами повсюду следовали черные «Волги». Без всякой маскировки они останавливались неподалеку от наших ворот. Из них выходили «дети выдры», но не хлебниковские, а просто в ондатровых шапках. Они начинали прогуливаться то парочками, то поодиночке. Часто останавливали тех, кто шел к нам; любопытствовали. Авторов альманаха «Метрополь» в об-

щем-то не останавливали. Иностранных корреспондентов совсем не останавливали. В спущенных шинах нашей зеленой «Волги» нередко обнаруживались сломанные лезвия ножей. Шиномонтажники из мастерской по соседству неплохо на нас зарабатывали. Когда мы куда-нибудь уезжали, тетя Маша из адмиральской дачи замечала, что какие-то субчики забираются к нам на чердак. На всякий случай в кармане у меня лежал пугач, купленный когда-то в «Лё Драгстор» на Елисейских Полях.

Я сидел под охраной ледяных сталактитов и писал пьесу.

Что еще мне оставалось делать? Писал в свое удовольствие, не рассчитывая ни на постановку, ни на публикацию. Честно говоря, я уже понимал, что я ни на что не могу рассчитывать в этой стране.

Через два года после пинка в зад эту пьесу поставил студенческий театр Нью-Йоркского городского университета (CUNY). Великолепный получился спектакль! Увы, недолговечный, как и все студенческие постановки. Еще через два года мы поехали на настоящую премьеру в Париж. Самый большой в этом городе драматический театр «Шайо» давал два параллельных спектакля, «Чайку» и «Цаплю», в похожих декорациях и с одной и той же группой актеров. Успех, успех и шампанское, шампанское! Постановщиком был великий Антуан Витез, единственный в городе режиссер, бегло говоривший по-русски. Мы были с ним друзьями, и я очень радовался, когда вскоре он был назначен худруком «Комеди Франсез».

Еще через несколько лет театр «Черный куб», который располагался на кампусе нашего университета Джордж Мэйсон в окрестностях Вашингтона, решил ставить «Цаплю» и пригласил для этой цели Витеза. Антуан сразу же согласился. Он мечтал поставить

в Штатах что-нибудь потрясающее. Увы, за неделю до приезда он скончался на репетициях какой-то пьесы из классического репертуара. Ушел в зените своего поистине фонтанирующего таланта.

Что касается родины, то здесь даже и в перестройку не нашлось подмостков для «Цапли», за исключением Магнитогорского театра кукол. Так и получается, как мне казалось в 1980-м, что я в нашем театре не могу ни на что рассчитывать.

Зато эту пьесу можно читать. Можно воображать сцену или просто-напросто пространство текста. К тому же она оснащена и стихами, а стало быть, пространство расширяется в неожиданных параметрах. Стихи эти вы находите между сценическими картинками. Они существуют в традиционных ритмах, и в каждой строфе есть четыре точных рифмовки. Записаны эти стихи в прозаическом формате.

НЕ ЖДАЛИ

Средь мироздания, как инсект, полз «жигулек» в шоссейном гаме. В нем ехал молодой субъект, международник Моногамов, сорокалетний мотылек, юнец с большим партийным стажем. В свой край родной на месяцок он завернул. Обескуражен он был избытком простоты и недостатками асфальта и тем, что городок Хвосты так не похож на остров Мальта.

Он ехал из Москвы в Литву, смиряя резвость «жигуленка», вздыхал на пыльную листву и вспоминал жену с ребенком.

С воспоминаньями в разлад рычала Минская дорога, бесшумный чиркал звездопад, и в унисон росла тревога.

Иван Владленч был непрост, хотя в анкете безупречен. Скромнейший ум и средний рост, благопристой-

ность тихой речи вне подозрений, ясен он, но вот беда, судите сами, он был с рожденья наделен необычайными глазами незаурядной синевы и нестандартного размера.

На глыбах сталинской Москвы в семье большого офицера росло глазастое дитя. Питомец будущий ВИЯКа среди чугунного литья вдруг видел влажной сути знаки и задавал себе вопрос: случайна ль жизнь средь химий диких?

Меж тем он полностью возрос, освоил множество языков, женился, родину любя, служа стране, ребенка сделал, возрос, как стебель от стебля, и вскоре отбыл за пределы одной шестой туда, туда, к пяти другим шестым, туманным, где есть другие города, но нет Москвы и Магадана.

Как водится, родных берез он не забыл в фальшивом блеске и все, что следует, пронес на службе у мадам ЮНЕСКО.

Однако вес родных погон с годами забывают плечи. Сегодня джунгли видит он, а завтра созерцает глетчер. У Сакса с Пятой Авеню он покупает чемоданы, у Чао-Дзы берет меню, у Сен-Лорана кардиганы... Года проходят, Ы и Ща все реже посещают разум, у нашего товарища слабеет классовый созназм. И вот теперь на «Жигулях» корячась по ночной Сморгони, он удивляется впотьмах отличием от калифорний.

Как много выиграл «фиат», переименовав свое название! Вот в самом деле — что за фарт! Ведь множественное окончание у «Жигулей» куда сильнее пистонов пожилого фата, и общность наших «Жигулей» бьет себялюбие «фиата».

Какой же русский, спросим мы, не любит «Жигулей» с похмелья? Какие «Жигули» из тьмы в разгаре классово-

вых веселий, от Пугачева от Емели, какие «Жигули» летели над нашей тихой стороной!

Вздыхнешь невольно над строкой...

Всем жиголо, блядам Европы не по зубам простая суть — у нас своя большая опыт, нам «Жигули» проложат путь в эпоху новых скоростей, но не хватает запчастей.

Меж тем в пансионате «Швейник» на берегу остзейских вод его не ждут ни кот, ни веник, жена и та его не ждет.

Мятежный край чухны и жмуди отнюдь-отнюдь его не ждет, не ждут ответственные люди, да и простой народ не ждет.

Быть может, будет бал в курзале, когда в толпе, вошедшей в раж, с картины Репина «Не ждали» сойдет заезжий персонаж.

Среди лесов, его не ждущих, не ждет его ни волк, ни крот; не ждет ни пьющий, ни жующий; быть может, только Цапля ждет... Ведь сотни лет ждала здесь принца болотная сия жар-птица.

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ ПЕРЕД ДРАМОЙ

Его огромные глаза с тревогой озирали пьесу на сцене, в зале, здесь и за, вдоль тропки по дороге к лесу.

Стоял, миря нездешний дух со здешней скованностью позы. Когда б не совершенный слух, он не поймал бы местной прозы.

Имей он кожи хоть аршин, не перешел бы гиблой бровки и, не почувствовав рифмовки, не потревожил бы старшин.

Таких героев хоть в архив. Вдобавок к недостатку кожи, прискорбно он не молчалив, мучительно не осторожен.

Опомнись, тихая душа, дитя планеты Моногамов! Он делает последний шаг и попадает в сети драмы.

НЕ ПРЯЧЬ СВОЙ ХВОСТ!

Когда-то жил поэт, служитель вольных муз. Чрезмерно вольных муз, по мнению соседа. Глаза с утра продрав, подкручивал свой ус и, плюнув в потолок, писал на стенке кредо.

Не прячь свой хвост, петух, не соберешь яиц, и не скрывай от кур горластый хриплый дар свой. Тебя зовет к себе от всех своих границ открытая для драк поверхность государства.

Уж если делят мир на равных шесть шестых, ты не забудь тогда и об одной шестерке, сравни свой подлый стих с гирляндою шутих, взлетай над Костромой и опадай в Нью-Йорке.

Бродячий шут и хват, ловец невинных душ, не убегай с мешком от премий и от критик, не прячь пятак в кушак, равно и жирный куш, и в час жестоких дел держи лицо открытым.

Потом поэт струхнул. Какие-то очки в комиссии пред ним предстали вурдалаком. С соседом он теперь играет в дурачки, а кредо на стене замазал бурым лаком.

ГЛУХОМАНИЯ

Среди различных графоманий, мегаломаний, фикс-идей мы выбираем глухоманию ночей Литвы, эстонских дней. Восточной Балтики дремота... Пятерками идут года, и тлеют, как хвощи в болотах, торговой Ганзы города.

Торговля обернулась прахом, религия — «больной вопрос»... По селам, как агент Госстраха, с портфельчиком бредет Христос. Ржавеет сфера зодиака, потерян стиль, утрачен жанр. Латиницы злосчастной знаки смущают сонных горожан.

В зеленоватый час заката бузит стрелок-пенсионер. Костел-музей и три плаката... Райцентр балтийской эсэсэр.

.....

Чай на двоих. Почти отчаянье. Вот глухomanии плоды: окаменелость, одичанье... Но, словно крапинки слюды, в камнях живет очарованье. Круженье мыслящей воды в прибрежных валунах, ворчание «Спидолы» старой... спят сады, стареют сливы... прозябанье... терпенье или умолчанье?.. Все ждет беды.

ЛЯГУШКОПАД

Смерч над болотом пролетал, лягушек в тучи засосал. К утру упал на мирный штатт нелепейший лягушкопад.

Когда лягушки падают с небес, происходит глупейшее чудо из всех чудес. Довольно паршивое явление природы. В восторге лишь нравственные уроды. Права на сон лишается гражданин сонный, кипит его разум, естественно, возмущенный. На наших улицах лягушачье крошево, в этом нет ничего хорошего. Шлепаются на крышу лягушки да лягушки. Хватить бы кого-нибудь пивной кружкой! Да некого...

Послушай, Ганс, ты, кажется, впадаешь в транс? Под мышкой у тебя подушка, а изо рта торчит лягушка!

Он на француженке женат, поэтому лягушкопад его нисколько не тревожит. Да, славы нашей не умножит такой лягушколюб Гансуля. Не лезь-ка шайзе на дер штуле за наш товарищеский тиш!

А ты, Иозеф, что молчишь? А ну-ка двинь Петру, геноссе! Иначе сам башки не сносишь!

Эй, Феликс, ножик не забыл? Что нож, ружьем бы вразумил глупцов, что затыкают уши, когда лягушки, словно груши, на плиты наших городов из иностранных облаков валят, а бургомистр Шумахер, жидам продавший душу на хер, молчит и прячется в дому. Кто на ногах, айда к нему!

Тот, кто лягушками нынче наслаждался, немецким салом, видно, вчера обожрался.

Тут назревает афоризм, и в нации растет фашизм.

ПОД РОКОТ ПЛАМЕННЫХ МОТОРОВ

Наш дядя был, по мнению многих, большим сторонником миноги, но, времени не тратя зря, жевал частенько и угря. Под рокот пламенных моторов прошел он путь командный свой от юных штурмов Беломора на героический Дальстрой.

С годами не обмякло кредо, и, отойдя от громких дел, маячил дядя, как торпеда, хотя слегка очертенел.

Уклон какой-то скандинавский с годами дядю обуял, утрачен прежний сандуновский Москва-барокко идеал.

По телефону партизана, крутя знакомств нелегкий вал, о датском пиве, финской бане наш дядя вечно хлопотал.

В отличие от бесовщины величественных эпох, бессонницы и штурмовщины, искорененья вражьих блох, он небу не грозит овчиной, навек к дубленочкам присох. С прононсом новой чертовщины — таков итог.

Так из отъявленных садистов, из бесовщины прежних дней мы вырастили гедонистов, распаренных блажных чертей.

Но это — благо, в самом деле, вздыхает робкий наш народ. Пускай почесывают тело и семгой забивают рот. Жуем мы хек, поводим ухом. Они — икру и сервелат. При-мат материи над духом приветствуем: они велят.

Приветствуем Земли вращенье, и со-вращение Луны, и мелкое очертененье геройской в прошлом сатаны.

БОЛОТНЫЕ ПРИПЕВЫ

На земле, на воде и в болоте
Светит ласковый наш уголек!
Если крылышки слабнут в полете,
Залетай, светлячок, на чаек!

Бомбовозы везут!
Огнеметы метут!
Проползают тяжелые танки!
Если кончишь, мой друг,
Свой нелегкий кунштюк,
Залетай в легендарной тачанке!

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Солдатская песня

ЗАПЕВАЛА. Над статуями над римскими,
Над колоннами афинскими,
Да над шхерами над финскими
Песня ласточкой летит!

СТРОЙ. Эх, Европа,
Веселые поля!
Идем всем скопом,
Трясутся вензеля!
Заложим мину
Под Нотр-Дам!

СЕСТРИЦА. И я тебе, любимый,
В воронке дам!

ЗАПЕВАЛА. Над полями галицийскими
И над кирхами австрийскими,
Над садами над английскими
Песня ласточкой летит!

СТРОЙ. Штурмуем Припять,
Весь экипаж вспотел,
Готов я выпить
Хоть Молотов-коктейль.

В нас бьют, все мимо!
Разрушим Роттердам!

СЕСТРИЦА. И я тебе, любимый,
Под танком дам!

ЗАПЕВАЛА. Над песками над сахарскими,
Над дыма́ми сталинградскими,
По-над джунглями вьетнамскими
Песня ласточкой летит!

СТРОЙ. Эх, радистки,
Встречайте с неба нас!
Откройте виски
И пригласите джаз!
Вот на кусочки
Мы разнесем Потсдам!

СЕСТРИЦА. И я тебе, мой летчик,
В турели дам!

ЛЕТЧИК (басом). А я тебе, мой пончик,
Отдам Потсдам!

ТЕПЕРЬ ПОРЯДОК МЫ ИМУМ

Варяги мирно плыли в греки, как будто бы не на разбой, когда к ним вышли человеки, светясь холщовой простотой. Они сказали:

— Изобильно здесь зверь бежит, летает гусь, и пахарь успевает сильно, и все сие зовется Русь.

Молодчики у нас могучи, а старцы полны важных дум, скот на лугах пригож и тучен, но вот порядка не имум.

Сор из избы метем мы чисто, а лес не валим наобум.
Девахи наши голосисты! А вот порядка не имум.

Века проходят за веками все без порядка, так нельзя.
Придите, княжите над нами, голубоглазые князья!

Ей-ей, какие человеки, подумал головной варяг и вы-
нес на речные бреги хвостатый полосатый стяг.

Стояла жаркая погода, вздымались стяги из травы.
Безоблачное время года не предвещало татарвы.

.....
Тысячелетие России... Над тяжелой бронзой смуты
шум иссяк. Века проколесили. Теперь порядок мы имум.

ЗАГАДОЧНЕЕ ДАЛАЙ-ЛАМЫ

Иван Владленыч Моногамов, увы, не знал своих корней.
Загадочнее далай-ламы ему казались люди дней совсем
не дальних, деда, бабки, не говоря уже про «пра», из тех,
что не служили в главке, не укрепляли аппарат.

А между тем совсем не худо вам, современный чело-
век, извлечь «предулю» из-под спуда, который в свой
дремучий век построил велосипед из бочек и укатил спо-
койно в Рим, там поклонился Санта Кроче и возвратился
невредим в свое село, где, сильно выпив, на ярмарке за-
бушевал и приставу за грубый выпад всю бородищу обо-
рвал.

Сними еще забвенья камень и не гони теней взашей.
Каков сюрприз — из рода мамы аптекарь вынырнул Эп-
штейн. Быть может, повредит анкете честнейший этот
господин, но пользу приносил он детям, сливал микстуры
от ангин.

Копнешь поглубже, человече, и, может быть, уви-
дишь там одно блаженное заречье, в котором жили,
не переча, кузнец Абрам и рядом печник Владлен Марле-
ныч Моногам.

Ведь в самом деле за прелюдом вражды паршивенькой одной был некий Мир, а в мире люди, они и нынче все с тобой.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР

Какой волшебный мир нам преподнес Творец! Сосна, сова, луна, автомобиль, дорога... Дано увидеть тем, кто не совсем слепец, дано услышать тем, кто слышит хоть немного.

Таков волшебный мир. Плетешься с рюкзаком. Восточный Крым, базар, початок кукурузы, похмельный ренессанс вдвоем со стариком, похожим на козла и Робинзона Крузо.

Таков волшебный мир. В Парижской Оперá тонка, нервна, юна антрактов примадонна. Шиншиллы на плечах, шампанского игра, явленье волшебства плейбоям беспардонным.

Таков волшебный мир. Сосед ваш Иванов, с утрянки похаркав, уходит за газетой. Мясистое лицо еще во власти снов. С газетой под дождем он требует ответа.

Таков волшебный мир. Погибший в муках пес, пречистая душа, шотландский сильный сеттер, промчался через год и поднял чуткий нос и в некий песий рай прошелестел, как ветер.

Таков волшебный мир. Готический собор, торговый эпицентр, свободы баррикада, весенняя метель садовых липких спор, горластый саксофон, Джоан Баэз, баллада. Таков волшебный мир. В нем властвует Господь. В нем ангелы поют, в нем заседают черти. Облачена в «деним», стареющая плоть предполагает жить, не думая о смерти.

Таков волшебный мир!
Каков презренный танк?

Таков волшебный мир!
Каков презренный танк?
Таков волшебный мир...

ИЗ ТЕМНОТЫ КТО-ТО ДЕЛАЕТ НОС

Волна, проходящая вдоль волнореза, пройдя, угасает. Парус, бегущий над волнами резво, в конце концов убегает. Негр, поднимая уверенно ногу, вскоре ее опускает. Даже экскурсовод со своим монологом все-таки замолкает.

Все пролетает, тлеет, течет. Не удержать момента. Смена правительства часто ведет к гибели монумента.

При сотворенье великих царств сотворены и капуты. Пьеса, которую ты созерцал, кончится через минуту.

То, что останется на века, через века и усохнет. То, что не стоит больше плевка, и без плевка подохнет.

Пьесам бессмертие не грозит. Капает капля за каплей. Очень естественно в этой связи взять в героини Цаплю.

В этой связи почему не связать рифмой экватор и кратер, выдать герою чужие глаза и начинать театр.

Театр начинается с вешалки и кончается ею. В середине туалет и буфет. Пигмалион полюбил Галатею. В зале зажегся свет.

Но самое забавное, быть может, и не конец, как некогда высказался один англичанин; начало — вот подлинно делу венец, всяческое начинание всяческих начинаний.

Из темноты кто-то делает нос. Некто проходит, смеется. Встав на колени, ты спросишь всерьез: что-нибудь остается?

«Знаете, бойз, где мухи дохнут от скуки?»

В большом романе «ОСТРОВ КРЫМ» почему-то не возникло ни одного стиха, кроме уличной песенки:

Город Запорожье!
Санитэйшен фри!
Вижу ваши рожи,
Братцы, же ву при!

Может быть, потому так случилось, что весь роман — это не что иное, как огромный стих о любви Андрея и Татьяны?

Этот свинг поется под ритм «Чаттануга-чу-чу»

Знаете, бойз,
Где мухи дохнут от скуки?
Знаем без слов,
Что это город Тамбов!
Вдруг впереди
Возникли наши чувихи,
И просиял

Тамбовский скучный вокзал.
Если ты приехал в город
Скучный до слез,
До прожилок,
До бутылок,
До кислых берез,
Сразу не сдавайся,
В девушек влюбляйся
И немедля повсеместно
Раз — два — гайся!

Зато в небольшом романе «БУМАЖНЫЙ ПЕЙ-
ЗАЖ», который я написал, сидя в «Башне Флага»
Смитсониевского замка в Вашингтоне, есть кое-какие
стихотворные шалости, например:

СТРОФЫ, АДРЕСОВАННЫЕ ВЕЛОСИПЕДОВУ, ИЛИ ПРОСТО ИГОРЮ

Салата не отведав,
Отправитесь вы в ад!
Месье Велосипедов,
Отведайте салат!

Капусты не отведав,
Ты будешь дик и пуст!
Месье Велосипедов,
Отведайте капуст!

Сардинок не отведав,
Подцепите вы сплин!
Месье Велосипедов,
Отведайте сардин!

Сашими не отведав,
Протухнешь ты, как cheese!
Месье Велосипедов,
Отведай Japanese!

СТИХИ КАПИТАНА КГБ ЕВГ. ГЖАТСКОГО

Коммунизм — электричество нашего века,
И в любви и в труде он не даст нам упасть!
Есть Дульсиня у каждого советского человека,
Это —
наша
Советская
Власть!

ПЕСНЯ СТАРЫХ МОСКОВСКИХ ХИППИ

Открой мне, Отчизна,
Секреты свои,
Военную тайну
Открой ненароком,
И так же, как в детстве,
Меня напои
Грейпфрутовым соком,
Грейпфрутовым соком...

ВТОРАЯ ПЕСНЯ СТАРЫХ МОСКОВСКИХ ХИППИ

Мама, не скучай,
Слез не проливай,
В Кливленд поскорее с дядей Мишей приезжай!

Едем мы, друзья,
В дальние края!
Станем эмигрантами и ты, и я!

**ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ:
МИРИАМ ПРОТУБЕРАНЕЦ**

Oh, my long-awaited animals,
Let us share our bred...
Let's blow a horn of
My husband Mamooth...*

* О, долгожданные мои звери,
Поделим наш хлеб...
Продуем же горн
Нашего мужа Джамбо... (англ.)

«Гудит стальной левифан...»

Большую книгу «В ПОИСКАХ ГРУСТНОГО БЭБИ» одни называют романом, другие — путеводителем по США. Я сам склоняюсь к тому, чтобы считать ее чем-то вроде еще одного «радиодневника писателя», поскольку многие эссе отсюда я читал по «Голосу Америки» в 1980-е годы.

Неожиданно для самого себя я включил в контекст этой книги, вернее в ее главный ностальгический поток, воспоминания о Кронштадте, где я, будучи еще студентом Первого Ленинградского меда им. Павлова, в 1955 году пребывал на военно-морских сборах. Этот институт в те годы имел флотский уклон, и всем мальчикам после курса присваивали звание «лейтенант резерва, врач корабля».

На деле все это попахивало основательной халтурой. Хрущев почему-то флота не любил и в том как раз году начал кампанию по сокращению личного состава в синих кителях и в черных шинелях. В связи с этим совершенно разбалансировалась дисциплина. Однажды ночью мы даже оказались свидетелями бунта строительных подразделений.

На корабли мы, разумеется, не попали, а вместо этого все тридцать дней сборов валандались без дела в казармах Морского экипажа, того самого, который в 1825 году

принял участие в противостоянии на Сенатской площади. По сути дела вся наша работа свелась к раздаче личному составу различных антиинфекционных таблеток. Матросы все эти таблетки называли одним словом «антистоин» и тут же в нашем присутствии выплевывали их в санитарное ведро.

Неизвестно почему эти отдаленные воспоминания приняли форму трех небольших стихотворений.

КРОНШТАДТ – ОАХУ, ГОНОЛУЛУ

Далекой молодости блики
Перед грозю на Вайкики...
Когда-то дерзок был и юн,
Носился в молодежном раже.
За дерзость сослан был в гальюн.
Гальюн Морского экипажа!
Бунтарской жаждою томим
На сто «очков» ангар за кухней.
Входи смелей, гардемарин,
Располагайся, словно Кюхля!
В тот год Кронштадтский гарнизон,
Границу запечатав глухо,
Был всеми яйцами влюблен
В красотку Машку-фармазон,
С бензоколонки злую шлюху.

УРОК ШТЫКОВОГО БОЯ В МОРСКОМ ЭКИПАЖЕ

Учитесь штыковому бою!
Втыкайте, пацаны!

От русского штычка завоют
Империалисты-сатаны!
Америка, наш враг коварный,
Весьма, товарищи, богат,
Хотя коэффициент товарный
У ей захапал плутократ.
Куда ты тычешь штык, Петруша?
Ведь Джек высок и знает бокс!
Ты тычь его пониже, в грушу!
Вот это будет самый сок!
За океаном не в почете
Марксизм, наука всех наук.
Борцы за мир все на учете,
А ЦРУ — большой паук!
Чем глубже ткнешь ты на ученье,
Тем веселей тебе в бою!
В морской пехоте развлеченье —
Один лишь мат. Етит твою!

СОБОР ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Морская крепость. Склянок звоны.
Гудит стальной левиафан.
Забыты дни, когда с амвона
Взывал Кронштадтский Иоанн.
Собор вместил Дворец культуры,
Программу просвещения масс,
И гарнизонные амуры
Гнездятся в помещеньях касс.
Афиш парад под вечер мгlistый.
Любитель знаний входит в раж.
Вот лекция «Империалисты
Готовят атомный шантаж».
Обзор успехов Казахстана...

Животный мир полярных вод...
Певец приехал Глеб Романов,
Лауреат и патриот.
Седьмая рота Экипажа
В награду за большой успех,
Черна, как угольная сажа,
Парадом претя в зал потех.
Эх, зарубежной песни ноты!
Певец поет, как патефон,
Про то, что бэби без работы
Паучьим долларом пленен.
Седьмая рота Экипажа,
К седьмому небу воспаря,
Забыв казарменную лажу,
Сосет водяру втихаря.
Сей культпоход за доблесть плата,
За службу верную, без дум,
За усмирение стройбата
Крутыми пулями «дум-дум».
Здесь к покаянию с амвона
Весь мир священник призывал,
Но гвардии матрос Семенов
Про это дело не слыхал.

Еще один стишок вместе с одним из моих любимых персонажей затерялся в этих «Поисках грустного бэби». У некоторых авторов, в том числе у вашего покорного слуги, появляются «кочующие персонажи», которые путями неисповедимыми перемещаются из книги в книгу. Таков и мой любимчик, огромный, как Пьер Безухов, ученый увалень Фил Фофанофф, который мелькает то тут, то там и в конце концов становится главным героем одной из книг, а именно романа «ЖЕЛТОК ЯЙЦА».

ХЕМИНГУЭЙ И ФИЛ ФОФАНОФФ

Пятерку «Ф» своих лелея,
Советский презирая быт,
Ф-ф читал Хемингуэя,
За что бывал нередко бит
В дискуссиях крутых друзьями,
Которые, уж отшумев
Свои фиесты и усами
Обзаведясь и поумнев,
Читали Фолкнера. Все злее
Славянофильский ветер дул.
Нам всех коррид твоих милее
Простой йокнапатофский мул!
И все ж, как встарь, благоговей,
Чудак, пьянчуга, бонвиван,
Ф-ф читал Хемингуэя,
Врастая задницей в диван.

«Люблю в Москве поднять самум, друзьям устроить перекличку...»

Роман «СКАЖИ ИЗЮМ» был написан в Вашингтоне в первой половине восьмидесятых. Многим активным читателям тогда казалось, что это роман-аллегория и что под видом фотографов выведены писатели, участники неподцензурного альманаха «Метрополь». Может быть, отчасти они и правы, но все-таки, как ни крути, это роман о фотографах.

Однажды я рассказал об этой книге Волкеру Шлондорфу, и тот просто взвился: «Роман о фотографах! Фотографы в морозной Москве! Грейт! Только никому до поры не рассказывай об этом — украдут!»

Роман вскоре вышел по-английски, но ни один киношный шакал не проявил к нему ни малейшего интереса. Что касается Шлондорфа, то он прекратил со мной контактировать, очевидно потому, что я на конгрессе ПЕН-клуба назвал фельдфебелем Гюнтера Грасса.

В этом романе есть три стихотворения, в которых уже появляется моя «суровая рифма»:

МОНОЛОГ ОГОРОДНИКОВА

Люблю, внезапно отрезвев,
увидеть Аттику, Элладу,
где, словно туча, дымный Зевс
обозревает эспланаду.
Люблю предмета смысл и звук
в его осмысленном звучаньи,
пусть непригляден, как паук,
пусть непристоен, как овчарня.
Люблю всемирный кавардак
обозревать, прикрывшись тогой,
и в той же тоге, натошак,
в России, красной и убогой,
вести застольный разговор
с партийным шишкой, местным вором,
и в щи бросать табачный сор,
и вора покрывать позором.
Люблю в Москве поднять самум,
друзьям устроить переключку...
Say cheese, my friends! Скажи изюм!
Вниманье, вылетает птичка!
Я грешен, братцы, признаюсь
И опускаюсь на колени:
бывают дни — я, пьяный гусь,
девиц без устали и лени
ищу, но сквозь похмельный кваф
вдруг вижу все по старой моде —
две пары лыж, жену, Кавказ
и месяц ранний на восходе.
Мучительна ничтожеств фальшь,
но видит все незримый зритель,
когда нечистый палец ваш
тайком тревожит проявитель.
Я выхожу. Мой Хассельблад

плечо мне тянет. Ночь в округе.
Направо ль Рай? Налево ль Ад?
Куда летим в московской вьюге?
Но щелкает мой автомат...
Лицо космической подружки
освещено. Сто тысяч ватт.
Из темноты летят пичуги.
Широкофокусный охват.
Вальсок, тангошка, буги-вуги...
И стар, и млад, и леопард
на нашей крохотной фелюге,
плывущей в некий фотосад...

**В ЧЕСТЬ АЛЕКСАНДРА РОДЧЕНКО,
ИЛИ
БАЛЛАДА О БРЮЧНОЙ ПУГОВИЦЕ**

Он не любил снимать «от пуговицы»,
Но есть любил
Вкрутую сваренную луковицу
С горшком белил.
Друг приходил.
Цилиндр и валенки.
Хрипя, как хряк,
На печке мазал пару голеньких
С цветком в кудрях.
Дыша духами и туманами,
Орлами хезала Москва,
В социализм неугомонная
Мечта стремилась и молва.
Автомобиль, рыча, подваливал
И звал удрать,
Валила на диваньи валики

Клоповья рать.
Угарной жизни разноключие
Иль марш-парад?
Чему служить вы предназначили
Ваш аппарат?
Хрусталь и сталь в молве расстелены.
Избавясь от богемных патл,
Кружил перед глазами Сталина
Летальный татлинский летатл.
Бурлит на кухне чайник яростно,
Певец коммун.
Коммуна поднимает ярусы
К одной из лун!
Куда двойная экспозиция
Вас приведет?
Поймет ли ваши экспликации
Простой народ?
Пролетарьят в России вспученной
Освободился от оков.
Утратив пуговицу брючную,
Сидел Сережа Третьяков.

МОЛИТВА ФОТОГРАФА

Господь Создатель, Боже Правый,
и ты, Блаженный Николай,
провижу я, как встанут травы
над нашим пеплом и золой.
Ловил я мимолетный образ
и в этом, грешный, был ретив
и не заметил, что обобран
размахом рук, рычаньем ртов,
полетом ног, сдвиженьем чресел.
Увидев все, слетел с рессор,

«Тучи в голубом»

Огромный опус «МОСКОВСКАЯ САГА» не мог обойтись без стихов, хотя бы потому, что одна из главных его героинь Нина Градова была поэтессой. В середине двадцатых она была активисткой комсомольских «синих блуз». Врывались, горя энтузиазмом, строили пирамиду. Кто-нибудь из мальчиков изображал старого ретрограда.

Я профессор-ретроград,
У меня большой оклад.
На виду у всей страны
Я тиран своей жены.

Пирамида выкрикивала хором:

Революции семь лет!
Отрицаем мир котлет!
Революция пылает,
Власть семьи уничтожает!

У Нины голова кругом идет и от революции, и от цветущей в те годы лирической поэзии. Она читает своему любовнику, представителю победившего пролетариата:

Могла ли я в стремительных мгновеньях
Не вспомнить, Одиссей, ни глаз твоих, ни губ,
Полночных кораблей жасминное цветенье,
И тени крепостей, и звук далеких труб?

Влюбленный в нее соперник пролетария, декадент-имажинист Степа Калистратов читает со сцены Коммунистической аудитории МГУ:

Гудки вблизи и в отдаленье.
Земля пустынна и плоска.
Одно лишь вахтенное бденье,
Ни ангельского голоса...
Нам остаются в утешенье
Ночных трактиров откровенья
Да «Арзамасская тоска»...

Тридцатые годы. Нина вышла замуж за хирурга Савву Китайгородского. На фоне массовых репрессий они кувыркаются в своем семейном счастье. Родилась дочка Ёлка, получили однокомнатную квартиру в Гнездииковском. Каждое утро Нина вывешивает на кухне иронические стихи.

Молодой профессор Савва,
Нашей хирургии слава.
Привлекательный мужчина,
Не знаком с тоской и сплином.
Патефон вчера купил,

Увеличил ценность скарба.
Телеграмму получил:
«Я люблю вас. Грета Гарбо».

Начинается Великая Отечественная. Савва уезжает на фронт. Нина вдогон пишет сложные стихи, в которых зашифрована тема народной беды.

ОПУСКАЮСЬ В ТЕМНЫЕ ГЛУБИНЫ

Опускаюсь в темные глубины, полированные стены, зеркало залеплено фанерой, отрывка довоенным шпротом, тысячи таких же персефон, три-четыре вонючих ведра, жалкий мой народ сутулоспинный, прощайте, ежевечерние уроки геометрии, тянутся к метро со всех сторон, куб гипотенузы с тремя переломанными шрапнелью катетами, сколько еще осталось в этих подвалах муки?

Век погас, серебряные свечи, длинный перечень талонов литеры «Б» с острова Эвакуа плавятся в уродливых божков, ты, гроссмейстер радостных заплечий, каких домашних животных, кроме сухих и черных кошек, бей наотмашь, без обиняков, двери не открывать, сигнализировать немедленно!

Пропадай, моя литература, дайте вашу ладонь, химическим карандашом на бугорке любви, Ланцелот, Онегин, Дон Кихот, никогда не дождетесь переключки фаланстеров, тяжело страдает кубатура, грязный уж ко мне вползает в рот, так и стоять мускулистыми барельефами с гроздьями фальши на плечах, с бананом обмана в правой руке. Только ты остался на просторе, пока не пройдет финальная бомбардировка, поднимая дерзкий ля бемоль, замедленное падение фасадов, завершение эле-

ментарного фотосинтеза, только ты один в моем фаворе, ускоренное центрифугирование, светлоокий Севера король, из варяг в греки без промежуточных остановок...

Савва пропадает без вести на фронте. Нина — в одиночестве. Случайно она пишет текст для лирической песенки, которая вдруг становится чем-то вроде гимна всего сражающегося поколения.

Тучи в голубом
Напоминают тот дом и море,
Чайку за окном,
Тот вальс в миноре...
Третий день подряд
Сквозь тучи, от горизонта
«Юнкерсы» летят
К твердыням фронта.
Третий день подряд,
Глядя через прицел зенитки,
Вижу небесный ряд,
Как на открытке.
Тучи в голубом
Напоминают тот дом и море,
Чайку над окном,
Тот вальс в миноре...
«Юнкерс» не пролетит
К твоим глазам с той открытки,
Будет он сбит
Моей зениткой,
Тучи в голубом
Станцуют тот вальс в мажоре,
Встретимся мы с тобой
Над мирным морем.
Тучи в голубом,
Тучи в голубом...

На всем протяжении тысячестраничной саги встречаются так называемые антракты, которые в принципе соответствуют жанру «стихотворений в прозе». Несколько из них предлагаются читателю как прием расширения романного пространства.

ПОЛЕТ СОВЫ

Четырехсотлетний Тохтамыш редко покидал насиженное гнездо под шатром Водовзводной башни. Казалось, одна была задача у старой птицы — пересидеть в сонливой задумчивости все эти столетия. С какой целью их следовало пересидеть, боюсь, ему (ей) самому (самой) было неизвестно. И только тогда, когда в крепости вдруг ломался порядок дней, Тохтамыш по ночам вываливался через одному ему знакомую апертуру в поток московского воздуха и совершал облет стен, как бы желая удостовериться — устоят ли? Так и в ту ночь, уловив какой-то своей ускользнувшей от внимания орнитологии мембраной волнение новых князей, называемых комиссарами, Тохтамыш пустился в свой неслышный, не ахти какой грациозный, однако исполненный онтологической уверенности полет. Поднявшись саженой на полста — в воздухе, кроме пары заштатных ворон, никого не замечалось, пахло дымком, дерьмецом, как обычно, пороху не учуял, — он описал широкий круг над своим пристанищем, потом, снижаясь, миновал Боровицкую, пролетел, если не проплыл, над Оружейной палатой и Потешным дворцом, приблизился к Арсеналу...

Все было тихо, вязко и сыровато, караулы на местах, двери на запорах, внешне ничто не выдавало волнения комиссаров, которое Тохтамыш уловил своей таинственной мембраной, и только во дворе Арсенала металось нечто.

Тохтамыш опустился на желоб водостока, брезгливо отвернулся от валявшегося там воробьиного трупика — он уже лет сто пятьдесят не жрал падаль — и уставился на мечущееся нечто, а именно на здешнего придворного поэта Демьяна, который называл себя «бедным», хотя и был богаче многих.

Сыч уже видел как-то мельком этого человечка, невзлюбил его сразу и запомнил. Мышиную суетливость свою Демьян прикрывал, анамсыгымтуганда, революционной романтикой, бездарность виршей — актуальностью.

Что же это он так мечется, будто барсук, нажавшийся волчьей ягоды? Ах да, вдохновение! В громовые дни набега, еще в том, прежнем обличье, Тохтамыш отличался остротой слуха. Сейчас он попробовал к ней вернуться и уловил бормотание.

«...Друг, милый друг... — бормотал Демьян, заламывая руки и подымая горе мясистое лицо, то ли ища луну, то ли принимая два светящихся совиных глаза за ободряющее созвездие. — Давно ль?.. Так ясно вспоминаю (аю, аю, аю): агитку настрочив в один присест (сест, сест, сест), я врангелевский тебе читаю (аю, аю, аю) манифест (фест, фест, фест)... Их фанге ан, я нашаю... Как над противником смеялись мы вдвоем (ём, ём, ём)! Их фанге ан!.. Ну, до чего ж похоже (оже, оже, оже)! Ты весь сиял: у нас среди бойцов подъем (ём, ём, ём)! Через недели две мы «нашинаем» тоже (оже, оже, оже)... Потом... мы на море смотрели в телескоп (коп, коп, коп)... Железною рукой в советские скрижали вписал ты «Красный Перекоп» (коп, коп, коп)... А где же жали-жали-жали?..

...Потом, потом, сейчас главное — не упустить вдохновения, рифмы потом... И вот... неожиданно роковое свершилось что-то... Не пойму (му, му, му), я к мертвому лицу склоняюсь твоему (му, му, му) и вижу пред собой лицо... какое?.. живое! (вое, вое, вое)... Стыдливо-целомудренный герой (рой, рой, рой) и скорбных мыслей рой (ой,

ой, ой)... совсем неплохо, по-пушкински получается... нет сил облечь в слова прощального привета (ета, ета, ета)... звонить в «Правду» немедленно...»

Больше такого надругательства над ночными словосочетаниями Тохтамыш терпеть не мог и потому нырнул вниз, овеял поэта страшноватым крылом, дабы заткнулась грязная пасть.

ШУМ ДУБА

Среди многочисленных деревьев Нескучного сада, что над Москвой-рекой, чуть на отшибе, на склоне пологого холма стоял восьмидесятилетний дуб. Верхние его ветви шумели: «Буташевич, Буташевич!», средние и нижние подпевали: «Петрашевский!», клесты в ветвях свистали: «Дост! Дост!»

В отличие от других деревьев парка, это зародилось в основательном отдалении, в сотнях верст к северу, во влажном устье короткой, но полноводной реки. После разгона кружка зародившийся дуб, почти бестелесный, еще долгое время лежал у протоки, в которой отражались дворцы, и мосты, и шпиль, и облака, и сам, почти еще не существующий, совершенно невидимый будущий дуб, воплотивший идею разогнанного либерального кружка. Как-то раз, однако, разыгрался шторм, прополыхала гроза, мощными турбуленциями зародившийся дуб, или даже идея дуба, поднят был в несущийся к югу поток воздуха, летел среди других идей, частиц, спор и вытянутых из болот мелких лягушек, пока не упал на склон пологого холма в Нескучном саду старой столицы.

Случилось это теплой и влажной ночью, в небе бо-ролись южное и северное начала, вдруг все озарялось, высвечивались колонны круглой беседки, в которой дерзкая парочка предавалась любви, стволы, рябь пруда

и кочковатость реки. Зародившийся дуб, или просто идея дуба, цеплялся за родное, кем-то родным недавно взрыленное, пахучее, черное под ливнем, и рыхлое, и липкое вещество и патетически боялся: неужели не привьюсь? Привился.

Привился, и вот восемьдесят лет спустя, в тысяча девятьсот тридцатом, он стоит, хорохорится под ветром, занят, как все окружающие, обычным древесным делом, в основном фотосинтезом, от него уже, согласно недавним изысканиям, все остальное, но в ветвях или меж ветвей все еще живет память о кружке, вернее, расплывчатые идеи кружка, гулкое сбрасывание кожаных галош в передней, обмен литературой, взглядами, «Письмо Белинского Гоголю», Федор, душа моя, прочтите вслух, головоломки допросов, барабанный бой фальшивого растрела.

Однажды под вечер в беседке оказалась парочка, мужчина лет под сорок и юная дева. Как и его белый противник, красный командарм Блюхер был влюблен в адьютантку штаба. Головка ее лежала на его широком кожаном плече, трогательный носик рядом с маршальской звездой, а он смотрел на ветви дуба и думал: надо что-то делать, может быть, именно сейчас, может быть, скоро будет уже поздно, пойти на риск, войти в историю спасителем революции... Неплохо думает, размышлял дуб, посылая ободряющие волны. Думай дальше. Технически все сделать несложно, продолжал свою думу Василий. Приехать в следующий раз из Хабаровска с укомплектованной группой охраны, войти в Кремль, арестовать мерзавцев, а особенно главного, рыжего таракана, выступить по радио, попросить всех оставаться на своих местах, отменить коллективизацию, вернуть нэп, предотвратить надвигающийся голод.

Предательская сырость шла со стороны реки. Страх плотным сваявшимся облаком медленно двигался

ся от центра города, будто выхлоп тепловой электростанции. Дуб старался отгонять внимание командарма от этих угнетающих подробностей, пел свое: «Буташе-е-вич, Петра-а-шевский», свистал клестами: «Дост! Дост!..» Струйки уныния, однако, проникали под кожаную сбрую, тревожили и звезду, и трогательный носик. Шансов на успех такого дела мало, все-таки ничтожно мало. Идти на операцию без союзников в центре невымыслимо, искать сейчас союзников значит провал: ищейки Менжинского повсюду. То, что убьют, не важно, важно, что в историю войдешь не спасителем, а предателем революции.

По пустынной аллее Нескучного сада к беседке под дубом приближался еще один спаситель революции, палач Кронштадта и Тамбова командарм Михаил Тухачевский. На его плечо склонила головку еще одна юная дева Вооруженных Сил, парикмахерша наркомата. Такое тогда было поветрие: железные человеки режима искали романтических утех.

Дуб взбудоражился всем своим существом. Сближайтесь, мальчики, увещевал он, Вася и Миша, станьте друзьями, ведь вы же думаете одну и ту же думу.

Между тем, заметив друг друга, командармы спешили со своих будущих конных памятников, сердца их трепетали в испуге. Тухачевский резко развернул свою даму, мелькнул и растворился в еловых сумерках. Одновременно Блюхер, подхватив своего трогательного носика, сбежал по ступеням беседки, сапоги его крепко застучали по асфальтированной тропке и пропали. Помимо всего прочего, оба командарма не были уверены в том, что их девушки не работают на Менжинского.

«Слабодушные», — краешком кроны прошелестел дуб и отвлекся всей душою к разворачивающемуся над Москвией закату.

СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ

К середине лета жаба доплюхала с улицы Качалова до Царицынских прудов. Передвигалась она в основном по ночам, чтобы не быть раздавленной уличным движением. Чем-чем, а инстинктом самосохранения была наделена недюжинным. Иной раз проскальзывали картинки несуществующих воспоминаний: чистейший снег вокруг желтого ампира, прочищенная спецдворником аллея — физкультурные упражнения необходимы для поддержания тонуса упитанного отца даже осажденного, дышащего города. По ночам улицы Москвы казались ей испаряющейся поверхностью чего-то ноздреватого. К утру она пристраивалась за какой-нибудь противопожарной бочкой под подошвами кем-то забытых сапог или в свалке металлолома и открывала ротовое отверстие. Приглашением, разумеется, тут же начинало пользоваться московское, довольно жирное, комарье. Накушавшееся за ночь чего-то из жильцов комарье само становилось кушаньем жабы. Однажды перед ней открылась перспектива больших достижений: нарастающие зубцы диаграмм, крупные маховики, колеса различных диаметров, уступы сверкающих зданий со шпильями, металлические и фанерные фигуры — все несъедобное, неживое, то есть в том смысле, что небелковое, но тревожащее какой-то другой, прошлой сутью. Среди предметов перспективы то там то сям мелькали лица величиной с дом, макушками вровень со шпильями. К ним жабе хотелось обратить большой и существенный упрек: зачем вы меня так, зачем так насильственно, не по-товарищески? Ведь я ничего не хотела, кроме идеологической чистоты. Быть может, и сами когда-нибудь прошлепаете, прожужжите по Москве в жабьем ли, в комарином ли виде, быть может, поймете хоть что-нибудь из рептильных, илистых истин. Я могла бы остаться с вашими лицами, думала жаба, но меня тянет к со-

ловьям. Нетрудно понять, почему ее тянуло к соловьям, если ознакомиться с партийными документами послевоенного периода.

Итак, она продолжала свой путь, влекомая через весь огромный город, через испарения булочных, столовок, моргов, живодерен, автобаз и красилен, запахом гнили Царицынских прудов.

Однажды ночью в развалинах чего-то старинного жаба встретила с крысиндой. Последняя лет пятьдесят уже дремала в глубинах этих развалин, слегка питаясь плесенью, то есть почти чистым пенициллином, и уплывая в дремах иной раз очень далеко от этих развалин, в некие блеклые пространства над северным немецким морем, над которым когда-то в подтверждение материалистической модели мира был развеян прах, почему-то имеющий к этой добродушной крысинде самое прямое отношение. Потрявоженная работающим в ночную смену бульдозером, крысинда вылезла из своей дремотной щели и вдруг увидела сразу три плана бытия: отдаленное созвездие, не очень далекую, перегруженную цветением ветку сирени с высывающейся из этой кипени головкой птицы и близкую жабу, буровато-пеговатое существо с прозрачными укоризненными глазами. Какая странная форма существования белковых тел, промелькнуло впервые за 51 год в голове у крысинды, никогда не думала, что такие вещи могут соединиться в столь волшебную комбинацию. Почему-то и созвездие показалось ей в этот момент воплощением белковой молекулы. Бульдозер затих, и тут послышалось сильное, настойчивое, абсолютно уверенное в своем праве на самовыражение пение соловья. Жаба поняла тогда, что она достигла своей цели и что развалины располагаются на берегу большого, водяного, илистого, заросшего по краям осокой, подернутого ряской, немного загрязненного городом, но все еще очаровательного пространства. попрощавшись с крысиндой, то есть подышав

в ее сторону раздувающимися и опадающими боками и грудью, авось еще увидимся среди этой фантазмагии, она поплюхала вниз по осколкам двухсотлетнего кирпича, упала в первый же маленький, отражающий многозначительную комбинацию звезд заливчик, тут же непроизвольно нажралась ряски вкупе с личинками все того же комарья и приготовилась внимать.

Собственно говоря, никакой подготовки не требовалось. Сильное, уверенное и филигранное пение не прекращалось ни на минуту вне всякой зависимости от перемещений жабы. Жабе, однако, казалось, что именно к ней обращено это пение, что она наконец достигла цели своего существования. Не в упреке же товарищам по Политбюро она состояла, в самом деле, а в покаянии соловьям. Вот они заливаются, думалось жабе теперь, вот и ее слышится царскосельский голос, исполненный вечной страсти и жажды пения, вот и руладится чье-то пересмешничество рядом, а вместе — какое гармоние! Простите мне, соловьи, все вольные и невольные оскорбления. Отчасти ведь почти искренне думал я тогда: почему же не вместе со всеми поют? Нелегко было сразу понять, что все-то не поют, а ревут. Вот и обмишулился, хоть и полагал себя довольно образованным... кем? чем?.. ну то есть членом, конечно. Когда-то вот, откинув фалды, изумляя всех иных членов промелькнувшими округлостями, присаживался к чему-то черному и белозубому, мельканием десяти отростков извлекал из данного некоторые «Картинки с выставки». Полагал себя среди гадов первым, чтобы судить соловьев. Гады воздали должное полным стаканом яду. Жалоб в принципе нет: не воздали бы должное, все еще сидел бы в секретариате, оскорбляя соловьев, а теперь вот лежу в темной и сытной воде, рядом с колеблющимся отражением звезды, гляжу на ряд колышущихся вдоль развалин стены сиреневых кустов, вот они, понимаете ли, товарищи, ожившие «Картинки

с выставки», внимаю переливам соловьев, всем холодно-кровным, но все-таки не снабженным подлостью телом прошу у них прощения за нечто прежнее, округлое, отрывающееся, постоянно выпиравшее из штанов.

Жаба, между прочим, ошибалась, адресуясь в соловьиной ночи Царицынских прудов к тем двум, что шесть лет назад попали под партийные сапоги. Во-первых, те двое пребывали еще в своем прежнем облики и пели не глотками, а скрипучими пушкинскими перьями. Ну а во-вторых, к тому, что пел в ту ночь над отраженным небом и над развалинами замка, наша жаба не имела никакого отношения или, если учесть, что нет в этом мироздании ничего, что не имело бы ко всему прочему какого-либо отношения, весьма отдаленное, весьма-весьма, почти совсем уже космическое, едва ли не внегалактическое отношение. Впрочем, тот, кто пел в ту ночь соловьиной глоткой, а именно бывший хозяин этих мест поэт Антиох Кантемир, смотрел из сирени на жабу и думал: «Слушай меня, ты, жаба, слушай!»

БАЛ СВЕТЛЯКОВ

Июнь, месяц балов: выпускных церемоний, всевозможных commencements с вручением почетных степеней выдающимся гостям и ораторам, с подбрасыванием в воздух шапочек, с юношескими лавинами, низвергающимися по мраморным лестницам, с захватывающим ожиданием чуда, счастья, любви, с торжеством светляков в темных деревьях, в светлых ночах, с переключкой, пересвистом пересмешников, с руладами соловьев.

Так когда-то и выпускницы Смольного института благородных девиц кружились белой ночью, глядя на парящих в парке светляков, спрашивая друг друга, что такое эти светляки, что в них, какая тайна, кроме вечной по-

эзии, не догадываясь или, может быть, смутно догадываясь, что в этих множественных вспышках по всему парку, над мрамором скульптур, над куполами деревьев перед ними мелькают восторги предыдущих выпускниц всего человеческого рода. Кто-нибудь в разгромленной, частично сожженной Германии, в лагере для перемещенных лиц, в американской зоне оккупации, лежа на траве, руки под голову, смотрит на возникающие над ним медлительно парящие бесшумные крошечные вертолеты, думает о том, почему вдруг в них происходит вспышка, в чем смысл этой реакции, в чем состав этой реакции, имеет ли это какое-нибудь отношение к процессу фотосинтеза?

В чем смысл этих крошечных вспышек, этой весенней феерии, почему в ней такая грусть? Это уже думает поэтесса в Серебряном Бору. Весь дом спит, а она сидит, обхватив колени, на крыльце террасы. Что это за сигналы? Крошечный воздушный корабль с огромным по его то размерам прожектором снижается к ней на ладонь и вдруг гаснет, сливается с темнотой. Выпускной бал института благородных девиц, с усмешкой думает она. Мимолетности, похороны нежности, возрождение и угасание, июнь сорок пятого года...

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ГУСИ

В конце нашей второй книги, осенью 1945 года, мы видим профессора Бориса Никитича Градова на берегу озера Бездонка. В закатный час. В одиночестве. Любой час сей-час для меня закатный, думал он. Война окончилась. Мне семьдесят лет. Семья разрушена. Все вдохновения — фальшь. Даже медицина. Закатный час. Жизнь может оборваться в любой момент. Как, впрочем, и у любого Homo sapiens, как старого, так и молодого. Каждый день в принципе напоминает тот танковый бой в подсолнухах, после

которого мы встретились с Никитушкой. Как верно он тогда говорил об интоксикации войны, об опьянении, которое только и дает возможность идти в бой, то есть жить, не думая о смерти. Сейчас мой хмель уже испарился до конца, и эти отблески заката на зеркальной воде не вдохновляют больше ни на миг, ни на долю мига, если только не...

Если только не появляются гуси. Они появляются. Девятка могучих птиц, нагулявших силу на заполярных болотах, направляется по вечному маршруту к дельте Нила. Озеро Бездонка, оказывается, одна из посадочных площадок на их пути. Клин снижается, вожак старается посадить всю команду разом, в одно касание. «Делай, как я! Делай, как я! Делай, как я!» — кричит он. На мгновение эскадрилья как бы замирает и затем приводняется. Высший пилотаж!

Старый профессор вдруг преисполняется восторгом от причастности к гусиному триумфу, ко всей этой странной феерии, что разыгрывается на планете Земля. Может быть, некогда и некая часть моей сути была перелетной тварью? Кто знает, через какие трансформации проходят наши сути за пределами суеты? Что помешает нам вообразить эту девятку отрядом павловских гвардейцев, приученных к гусиному шагу под свист русско-пруссских флейт и бой преображенского барабана? Что помешает нам представить, как они стаскивали сапоги, чтобы перейти с гулко-го гусяного шага на бесшумный кошачий по коридорам Инженерного замка? Ради свободы, ради избавления родины от тирана, во имя либеральной истории — тихий перепрыг к грязному, мокрому делу... И все вокруг корчится от греха, и все вокруг задыхается от любви.

Старому профессору кажется, что кто-то вместе с ним проходит через те же мысли, сидя на берегу холодной и темной воды, кто-то маленький и бесконечно любимый. Он поворачивается и идет по тропе в сторону дома.

«Мы проходим по дну, перед нами фантомы и миги...»

После «Московской саги», которая была окончена в 1992 году, я долго болтался, не зная чем заняться. Семилетняя работа, связанная к тому же с отбором архивного материала, основательно меня выпотрошила. И вдруг пришла идея написать книгу рассказов.

В шестидесятые мы все носились с жанром рассказа. Часто проходили семинары, круглые столы и просто болтовня о рассказе. Предполагалось, что рассказ — это «школа прозы». Рассказ вообще — это исключительная редкость, это просто-напросто чудо. Отчасти нерукотворное, но в большей мере рукотворное, то есть шедевр. Если получается рассказ, его лучше сразу поставить на пьедестал: ничего не прибавишь, ничего не убавишь, своего рода постоянное яблоко; и так далее.

В девяностые я решил не гнаться за шедевром, а создать коллекцию экзистенциальных рассказов вкуче со «стихами в прозе» и просто со стихами; получилась книга «НЕГАТИВ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ГЕРОЯ». Разбросанные там и сям стихотворные тексты стали чем-то вроде компьютерных боксов, или «иконок»,

кликнув по которым, читатель создавал свой собственный дополнительный маршрут, направление которого, а также расстояние и глубина зависели от его собственной (читателя) литературной активности.

Вот, например, несколько периодов из текста под названием

ДОСЬЕ МОЕЙ МАТЕРИ

Архив Татарии. Портрет Дзержинского.

Все те же арии.

Либретто свинское.

Давно уж дуба дал дух коммунарии,

Шамиев шубу сшил,

Дыр бул щил,

Персек Татарии.

Колода тленная, а масть крапленая.

Башка у Ленина теперь зеленая.

Ислам марксистовый в склоненье
дательном.

Калым неистовый. Чекист старательный.

Воняет охрою, тряпьем, говной,

И те же вохровцы на проходной.

Да, нет-нет, это, конечно, просто эмоциональное, предвзятое, необъективное. Конечно, многое изменилось даже здесь, на волжском «острове социализма». Кто бы тебя сюда раньше пустил? Читать досье матери из архива «Черного Озера»? Отправили бы полечиться. Теперь ты приходишь вместе с профессором Литвиным, и вохра тебя как бы и не замечает. Больше того, за тобой вкатывается московская киногруппа — Света, Сережа и Катя. Ничего особенного, просто съемка эпизода «Оз-

накомление Аксенова с делом его арестованной в 1937 году матери».

Тому кусок истории назад
Товарищ Бекчентаев выбрал папку.
Она была сера, как весь совдеп,
Как курс истории марксизма-ленинизма.
Вот вам энкавэдэ, вот стойкость матерьяла:
Кусок истории прошел, истлели судьбы,
А папочка с тесемочками, курва, цела.

Я родился на улице тишайшей, что Комлевой звалась в честь местного большевика, застреленного бунтующим чехословаком. Окошками наш дом смотрел в народный сад, известный в городе как Сад Ляцкой, что при желании можно связать и с ляхом. Поляк и чех присутствовали здесь, и стало быть, Центральная Европа каким-то образом тут прогулялась. Мы говорим «Центральная», поскольку Татарское Заволжье, господа, географически еще Европа.

Наш скромный дом соседствовал с шикарнейшим модерном в три этажа. Там на фронтоне зиждилась скульптура, ошеломлявшая дитя, когда бы ни взглянул. Скульптура такова: стеклянный шар земной в широтах и меридианах, а на нем верхом орел, простерший два крыла отменной бронзы. Не понимая, что к чему, ребенок застывал перед фронтоном, и всякий раз при взгляде на орла ему хотелось пить.

Ребенок, словно собачонка,
Не очень часто замечает небеса,
Но вот однажды, вскинув головенку,
Он видит: темная большая колбаса
Плывет над садом. Дикая картина,
Не черт, не шут, акула, но без жабр...

Тут слышится над ним басок партийный:
Се гордость родины, советский дирижабль!
Неделя не прошла, как в том же небе —
Июльско-серый свод над купами дерев —
Восьмимоторный монстр, кумирня племса,
На Азию прошел, триумфом проревев.
Ребенок созерцал свой переулок главный,
Свой главный окоем и в центре главный дом,
Тот обреченный дом Евгении и Павла,
Где рост его отмечен был мелком
На дверце спальни, где ружьем с липучкой
Был он к пяти годам вооружен
И где в конце концов замок сургучный
Чекистом тихим был сооружен.

*Из инвентарного списка реквизированных
при обыске квартиры вещей:*

Костюм суконный, хороший.
Пальто женское, с меховым воротником.
Патефон, сто пластинок.
Игрушки детские, один ящик.
Полные собрания сочинений Л.Н.Толстого,
А.П.Чехова, А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского.
И.Канта...

«Вещи в себе», солидные издания «Академии»,
Увязаны шпагатом в чекистский бант.
С Достоевским все ясно, русская эпидемия,
Однако при чем здесь профессор Иммануил Кант?
Познать непознаваемое, экая премудрость!
Сделал опись при понятых, наляпал сургуч.
Что бы там ни говорили ницшеанские Заратустры,
Ленин был прав, внедряя наш «Всеобуч»!
Изъятая философия перестает философствовать,

Превращается просто в объем и вес.
Человек подлежит дознанию, тщательному
следствию.
Собака любит мясо, а лошадь овес.

Так они начали и меня работать,
Хряки пролетарской революции, дети Свины,
В шевиотовых, с лампасами, штанах санкюлоты,
Матери своей многососковой похрюкивающие сыны.
А я разгуливал в закатный час по Казани,
Чьи шпили предполагали на западе и Нью-Йорк,
и Париж,
Уже подготовленный к революционному наказанию,
Не подозревающий, что вместо судьбы
мне приготовлен шиш
Этой ебаной революции и воронок трехтонки...
Через сорок с чем-то я молча воплю:
«Не получилось, суки!»
По матери, и по отцу, и по профессору Эльвову
на гэбэшные картонки
Я слезы невидимые, но сверхкислотные лью
И задыхаюсь от скуки.

В январе 1993-го я впервые побывал в Иерусалиме.
Там Миша Генделев, ветеран Ливанской войны и вели-
колепный поэт, а также его бывшая жена очарователь-
ная Елена водили меня по Старому городу; от одной
тайны к другой. Давно уже я не испытывал такого
вдохновения пространством. Мне все время казалось,
что над этим городом стоит гигантский столб света.
Благодаря этим блужданиям в «Негативе» появились
стихи, навеянные Ветхим Заветом, Евангелием и даже
Кораном.

ЧЕРЕЗ КРАСНОЕ МОРЕ

Пресечение течения воды сродни пресечению
времени.

Остановка мгновения жизни перед мгновеньем
конца.

Фараона Первая Конная приподнимается
в стремени,

И на пиках вздымается тело камикадзе-гонца.

Гром колес за спиной, перед нами морская
пучина.

Мощный ветер с Востока, неверие наше рассей!

Тот, кто верит в Творца, не убоится почина!

И со старческой мощью стал в воду входить
Моисей.

Расступается море, и толпы спускаются в прорву.

Голубой коридор непомерно глубок и высок.

И судьба, и поклажа, все поделено поровну.

Фараонской пощады не жди, и открыт
для раненья висок.

Мы проходим по дну, перед нами фантомы
и миги,

Что зарылись здесь в ил на исходе Судного дня.

Не пошлет ли за нами египетский вождь
свои колымаги,

Не откроется ль нам на пути темная западня?

Волны ходят по краю синеющей охры,

Разворачивается в небе грома раскат,

И взирают на нас из-за стен красноморских

Сонмы чудищ морских, и акула, и скат.

ДОЛИНА

Старшой Иерусалимского караула

Не любил в Гефсиманах ночных облав.

Как всегда, ни зги не видать, думал он уныло,
Спускаясь с холма среди камней
и дубрав.

Там, где сейчас проносится окружная
дорога,

В те времена неумолчно и ровно шумел
Кедрон.

В этой темени не успеешь и позвать
на подмогу,

Бритый по-римски, злился центурион.

Там, где стоянка нынче запрещена,

С камня на камень перепрыгивали
факелы.

Дождется ли меня к утру жена?

Не сбежит ли тот с тридцатью
серебряными сиклями?

В городе, ей-ей, не будет порядка,

Пока в Гефсиманах кучкуются хиппи
и прочий сброд,

Пока они там ночуют в садах
и в грядках,

Пока в шалашах и пещерах этот
немытый народ

Внимает истинам, что вещает всяческий
сумасброд.

Как мы его сможем идентифицировать?

Нет ни снимка, ни отпечатка, только
словесный портрет.

Как у каждого из нас, всего лишь
два глаза, не четыре.

Богочеловек без особых примет.

Факелы обтекают надгробные глыбы,
Собираются в кострище у входа в грот.

Когда опознаете, целуйте в губы!

Поняли задание, Искариот?

* * *

Пока арестованного вели к синедриону,
Старшой несколько раз оглядывался из-за плеча.
Влекомый и побиваемый издавал сильные стоны.
Быть ему завтра добычей палача!
Если ты Бог, то зачем так по-человечески?
Почему ты не вспыхнешь сразу полусотней глаз?
Почему не взъяришься вроде чудищ греческих,
Медью крыльев не прогремишь,
не напугаешь нас?
Руку протяни, извлеки из Времени
Какой-нибудь ледяющий минус,
испепеляющий плюс,
Чудо какого-нибудь лития или кремния,
Я первый тогда на колени свалюсь!
Ей-ей, ты стонешь слишком по-человечески,
Ничем не защищаешься от наглых ребят.
Ну позволь нам предстать не столь палачески,
Дай поверить в тебя!
Ветер с дымом летит над отечеством,
Только он лишь ласкает Его, волосы теребя.

БАЗАР

Чем торговали тогда на базаре
в Иерусалиме?
В продаже были мята, тмин и анис,
Свежие голуби и те, которых только что
засолили,
Немало фруктов, включая и ананас.

Тот же товар и сейчас лежит
на Долорозо,
Как в тот день, когда Иисуса вели
на холм,

Бобы и фасоль предлагают арабы
и друзья,
Россыпи ювелирной чеканки и латунный
хлам.

У подвешенной тушки барана оставлен
фривольный хвостик.
Восьмая станция, Христос спотыкается
в неровный час.
Вмятину от его руки на стене созерцает
турист-агностик.
Трудно не верить, ей-ей, она горяча
и сейчас.

Тут на углу магазин радиоаппаратуры.
Разве Он мог не слышать нынешних
электронных сирен?
Если ты — Бог, извлеки из невидимой
апертуры
Экран с говорящим диктором Си-Эн-Эн!

И тут же новая слава грянет:
Ведь народ-то сообразительный,
не дубы, не пни!
Голову под кнуты и плечо под крест
подставляет Киринаянин,
А толпа заходится: Распни! Распни!

По туристской дороге Он идет под проклятиями,
Приближается череп горы и конец,
А за ним с уважением торгует распятиями
И Христами по дереву сувенирный купец.

ХРАМ

Зазубрины на плитах улицы Долорозо
И по всему арабскому кварталу,
Их выбили для конницы Пилата,
Чтобы копыта не скользили.
Так тут, во всяком случае, считают,
И ровным счетом нет причин не верить,
Как нет причин не верить в то, что
грозы
Не изменились здесь, и молнии
блистали,
И свет свой фосфорический в долину
лили,
Все так же отражаясь в римских латах,
Как нынче в крышах и боках
автомобилей,
А облака под ветром нынче так же тают,
Как в мире том, где царствовал Тиберий
В ту ночь, среди небесных изобилий.

* * *

«Язычники несут свой крест по виа Долорозо»,
Так написал израильский поэт.
Стихом ли воспарит иль разольется прозой
Всех трех религий суверенитет —
Неважно, и вот эта драма
Гвоздей и жил, а также и копыта
подвздошная игра,
Разыграна в потомстве Авраама
Без помощи чернил и маскара.
Здесь озаряется и меркнет панорама,
Но возжигаются небесные огни
На страшной высоте, в зените прямо.
«Или! Или! Лама Савахфани!»

Молчание, неясных звуков гамма,
И вновь молчанье. Боже сохрани!

Старшой караула, сторонник идей
Скорей позитивных, вздохнул у ограды:
Он был правовернейший иудей,
А мы, остальные, евреи, арабы, русские
и американцы — пока еще лицемеры и гады!

Апокрифы перед тобой или каноны?
Горячим камень был или ступня прожгла
Гранита ткань? В пространстве опаленном
Ты видишь тень блаженного жезла.
К нему, забыв про муки гравитаций
И про сапог, крушащий хрящ крестца,
Христос возносится. Рави, Рави! Всех станций
Трагедия отходит в Дом Отца.

Сто четырнадцать сур вы найдете в Коране;
Жития поздних пророков, Кисас Аль-Анбийя.
Жизни путь протоптав, упокоишься, путник,
в Джанне,
Иль в Джаханнам падешь, вопия и бия
Свою грудь и башку, что не понял Пророка,
Что не бросил на ветошь ожидаемой мзды,
Всуе стих бормотал, не предвидел до срока
Прожигающий светоч, путник, удаленной звезды.

Вокруг этого вроде бы идейного и религиозного
центра кружится карнавал современной беспутной
жизни. В кафе возле Круга Дюпон в Вашингтоне гитарист
исполняет задумчивый блюз:

«За все отвечаешь, чем жил ты,
Чем был на Земле опьянён» —
Так пел гитарист черно-желтый
В кафе возле Круга Дюпон.

ИЗ ПРАКТИКИ РОМАНОСТРОИТЕЛЬСТВА

...К началу работы этот мелькнувший шедевр почти забыт или почти не забыт: иначе и работа бы не началась. Это «почти» важнее всех завязок, кульминаций и развязок, или, как их там, ритмов, стилей, саспенсий там всяких, эпифаний, ну и так далее. Вместо всех этих элементов литературной теории, которым мы так старательно учим нерадивых студентов Вашингтонской метрополии, а также юношей Междуречья Тигра и Евфрата, перед вами брезжит некая неясная картина, почему-то имеющая отношение к вашему «почти». Ну вот, к примеру, какая-то излучина, за нею — аэропорт и шляпой нахлобученной архитектурный торт: загадочно.

Вы начинаете шляться вокруг этого места. Иногда расставляете среди свалок треногу с прибором: псевдо-геодезист, фальшивый архитектор. Не ждите знаков одобрения. Никто вам не даст аванса под ваш замысел, если вы его правильно сформулируете. Ваши идеи будут признаны не очистительными, а разрушительными. Не посягайте, скажут вам, здесь все-таки Америка (или Россия), здесь люди живут. Здесь пузырьки метана поднимаются, к их запаху все привыкли. Вас уже выгнали однажды вон за ваши труды, и нынешнее терпение не вечно.

А мне нужен этот ландшафт, отвечаете вы почти грубо. А также гэз-стейшн неподалеку. Там светятся цвета «Шеврона», а из одинокой машины, хватившей ночью бензина, доносятся скрипки Алессандро Марчелло. И вы начинаете расчищать площадку, на что уходит то ли це-

лый год, то ли неполная ночь. В конце концов: «В сутолоку разноголосиц звук долетит извне, снизится Победоносец на византийском коне» — ну, в этом роде.

Несколько строк из большой фантазии на эту тему с множественными выплесками рифм.

Вот, например, стихотворный отрывок из текста о том, как приживался в России волшебный напиток, иными словами — как в этой сумрачной стране возникла лирическая поэзия.

ТОСТ ЗА ШАМПАНСКОЕ

О, те закаты за горами!
Орлиный клекот далеко!
Когда иссохшие в боях, о да, гортани
Им охлаждала «Вёв Клико»!
А на рассвете перед боем
Свой взгляд не в пушки вперивал он,
А в благодатное судьбою
Шампанское «Дон Периньон».
Над прошампаненной строкою
Огонь священный с тех пор не потух,
Хоть и играет над страную
Букет совковых бормотух.
Тот день придет, сияют лица,
На химию падет запрет,
И восстановит какой-нибудь князь Голицын
Свою кумирню «Новый Свет»!
Поднимем чаши мы с шампанским
За вдохновенье тех эпох,
Когда у муз имелись, скажем, шансы
Сманить российских выпивох

В веселый мир пушкинианства,
Где рифм и нимф мы зрим привычный торг,
Отвлечь от пагубного пьянства,
Привлечь в шампанского восторг!

В следующей балладе возникает список моих студентов в одном из семинаров на кампусе университета «Джордж Мэйсон». Читатель может легко здесь заметить обилие «суровых рифм».

КЛАСС АМЕРИКА

Каждый год осенью, в сентябре,
Передо мной новое скопление лиц:
Обязательная ветеранка, волосы в серебре
И десятка три юнцов и юниц.
«Современный роман: упругость жанра» —
Так мы называем наш академический курс.
Молодой романист предвкушает мажорно
Поцелуй вдохновенья и тщеславья укус.
Среброволосая баронесса Соня
В классе, быть может, моложе всех:
Зубы не обломав в Упсала и в Сорбонне,
Теперь разгрызает вирджинский орех.
Двадцатилетний Стенли Яблонский
В стильном рванье — сплошной атас! —
Обнаруживает странно японский
Абрис лица и рисунок глаз.
С ним его подруга, на груди монисто,
Калифорнийка Роксана Трент,
Голубоглазая постмодернистка,
Чья философия — эксперимент!
Рядом из глубинки «дунька с трудоднями»
Отрхивает с набрюшника потэйто-чипс:

Звать ее Джейн, а фамилиё — Пастрами,
Уши продолжают баранками клипс.
Из той же породы Сэлли Мэтьюз
И Дэбра Малкович. Бабл-гам
Вздувают девицы, рожденные сетью
Большой коммерции: всем сестрам по серьгам.
Бывший сержант дорожного патруля
Старательно отглаженный Рэнди О:
Глаза, что две разбалансированных пули,
Жизненные планы грандио-
Зны, в отличие от таковых у Грэга
Миллера, что и так доволен собой,
Своими зубами цвета снега
И соломенной шевелюрой «голден бой».
Огненно-рыжая Шила О'Коннор
Символизирует весь свой клан:
На фоне зеленых проемов оконных
Она преподносит набор ирланд-
Ских многоцветий, и вечно юный
Сорокалетний хиппи с косой
Ричард Фицджеральд готов уже клюнуть
На эти приманки девицы простой.
Джаарбил Мохамед Наврузи
Темным камнем украсил свой перст:
В томных взглядах он виртуозен,
Этот юный богатый перс.
Кирьяш, Ладан, Айя, Пантейя, его землячки,
На джинсы сменившие хомейнийский ярем:
По шариату явно не плачет
Эмансипированный гарем.
Нельзя забывать и другого Востока,
Он щедро представлен. Ким Со Лим,
Все белые тигры корейских восходов
В класс заявляются вместе с ним.
А вот и самые худенькие ребята:

Нго, Дуонг и Анг Хуэй Уан,
С плоскими лицами селибатов,
Будто посажены на сампан.
«Лодочным людом» называли их «посты» и «стары»,
Выпит изрядно ими горький ром ранних ран,
Тайно отчалили от комиссаров,
Чтобы приплыть в роман.
Сын эфиопского комсомола,
Что испарился во цвете лет,
Зубрила, как видно, крутого помола
Менгисту Хайле Тесфалидет.
Таинственный Стержио Агастокьюлос
По происхождению и по внешности грек,
Если и не из Эллады, то откуда-то около:
Среди тридцати иксов один игрэк.
Грустная милая Клоди Куриц.
К ней не полезет всякий нахал,
Зато поэт фимиам ей воскурит,
Не зная, что курицей называл.
А вот как раз и поэт, Макдоналд
Джефри: я встретил его в Москве —
Юноша кругленький, но окрыленный,
С поэтическим промыслом объехал весь свет.
Сидит здесь и гитарист нашего рок-н-ролла
По кличке «Энеми», по имени Нагл
Кристофер, чье пузо нередко голо
И коленный сустав нередко наг.
Двухметровый центр женского баскетбола
Афро-американка Шелдон Моник
Плывет, покачиваясь, как гондола,
Под грузом русских нечитанных книг.
За ней гондольер, маленький Генри,
Черный кузнечик Смит, мастер дзюдо,
Из легчайшей категории в тяжелые жанры
Переходит, влекомый своей звездой.

А вот и наш соотечественник, Векслер Алекс,
То есть бывший Саша: возрос в тиши
Мэрилендских пригородов. Там и взыграли
Ностальгические чувства к пушкинским далям;
«По русской понимаю ни шиши».
Не обошлось, разумеется, и без Польши:
Как одно из ясных славянских солнц,
В центре класса сияет ни меньше ни больше,
Как подруга всеобщего детства Инга Зайонц.
Мы начинаем, господа, со слов Пастернака,
Автора романа «Доктор Омар Шариф»,
Где Джулия Кристи бродит по буераку,
Напевая незабываемый 1966 года мотив.
Он говорит, что весь мир в комплоте,
Однако роман — это не просто текст.
Роман — это кусок горячей дымящейся плоти.
От себя добавим: Но отнюдь не бифштекс!
Все-таки роман — это сборище письменных знаков.
Он появляется в воздухе, как ЭНЭЛО,
По воле гудящего себе под нос Пастернака,
Чья ручка кружится, как помело
Переделкинской ведьмы, она же муза,
Что вечно переперчивала соцреализм,
А по ночам голосила, как леший Карузо,
В литфондовских дебрях, где мрак и слизь.
Чеканщик шедевров, виолончельщик
Вляпался в романешти, как в липкий бальзам,
В жанр, где размазался и застрельщик,
Достопочтенный Оноре де Бальзак.
Все-таки он отрывается, он в полете,
Кружит над строчками и не впадает в сон.
Не спи, жужжит сам себе, работай,
И станешь, как пилотская звездочка, невесом.

Далее баллада в стиле барокко, а также и в ритме
убаюкивающего барокко. Рагуза (Дубровник) за год до

распада Югославии раскрывается в череде вечерних и ночных кадров.

ЗА ГОД ДО НАЧАЛА ВОЙНЫ

За год до начала войны
Я зарулил в Дубровник,
Чьи граждане часто пьяны
И всяк сам себе полковник.
Шикарный отель «Бельвью»
Спускался в лазурь Ядрана.
Подыгрывали соловью
Далматинские фонтаны.
Террасы, арки, углы...
Отель не по общей мерке.
Позднее его сожгли
Белградские канонерки.
За год до войны Балкан
Был сам себе не в обузу.
На башне стучал барабан,
Сзывал фестиваль в Рагузу.
Итало-славянский лицей
Все спорил о приоритете:
Кто там торговал сольцой,
А кто заседал в совете,
И где там бродил Роланд.
Тысячелетние враки
Разыгрывались в ролях,
Трепались в пивных на Плаке.
Тридцатилетним юнцом
Я был здесь когда-то впервые.
Теперь с постаревшим лицом
И щедрыми чаевыми
В кармане холщовых брюк
Сижу в кафе знаменитом,

Профессор дутых наук.
Но с пластиковым кредитом.
К моему столу направляется пара, молодые американцы.
Кажется, что это просто рекламный трюк:
У нее походка, как примеры танца,
У него на плечи хоть взваливай сундук,
Щеки у гадов, что твои померанцы,
Зубы — хоть раскальвай окаменевший фундук.
Кажется, это мои студенты, ей я вроде поставил «Эй»,
А ему «Би-плас», но может быть наоборот.
Она рассказывала вроде про Достоевского «Чертей»,
А он как будто подзабыл, кто такой Филипп Рот.
Откуда такое добродушие
В стране, где так споро спускают курок?
От улыбок у обоих трещат заушины.
Ну вот вам и реклама: пей грейпфрутовый сок!
Welcome, welcome! Сиденья свободны!
Присаживайтесь, ребята, ваш профессор не jerk!*
Они приземляются, два тигра голодных.
Солнце опускается, но день еще не померк,
Ренессансные ласточки кружат над шпилем,
Открывают окно, и барокко Рагузы идет,
как волна от борта.
Кажется, с вами мы Достоевского «Чертей» проходили?
Зубрили! Долбили!
А с вами мы, кажется, подзабыли малость
Филиппа Рта?
Тра-та-та!
Масса совпадений; множество узнаваний!
Линда сияет, похохатывает Бретт.
Если только не перепутали мы тут кузницу знаний.
Похоже, ханни, что это все-таки не наш университет.
Да и профессор, кажись, не очень-то нашенский.

* ...удак (амер.).

Не вполне совпадает, не цент в цент.
Кажется, тут у нас, сэр, какая-то получается каша:
У нашего литератора был другой акцент.
Какая-то смесь китайского, персидского и гишпанского,
А может быть, даже он был француз.
Ну, это не важно, давайте выпьем шампанского
За наш американский учебный союз!
Я думал: Линда оранжевощекая,
Жаль, что мы не встретились тридцать лет назад.
Теперь лишь ласточки пусть прощелкивают
В твоих предательски-барочных глазах.
У этого Бретта будет отменный футурум.
Огромные возможности, сомнений нет.
Большие накопления в мускулатуре.
Он будущий лидер бизнеса, этот Бретт.
Ну что ж, ребята, приятного аппетита!
Фанкью за очертания ваших фанковых черт!
А я отправляюсь походкой троглодита
В Palatium Regiminis на камерный концерт.
Линда хлоп-хлоп, как дитя непорочное:
Устроим сегодня на музыку большой набег!
Официант, заверните несъеденное — салат, кальмаров,
прочее
В какой-нибудь невоноученький «догги-бэг».
Проходим мимо стучащего и скрипящего диско.
Весьма мне известный подвал «Лабиринт».
Четверть века назад я тут кадрил одну одалиску,
За что и был местной сволочью подло бит.
Бретт изумленно пялится на клоаку.
Позвольте, четверть века назад я еще не был рожден!
Что вас заставило четверть века назад ввязаться
в драку?
Столь безрассудно, сэр, четверть века назад
полезть на рожон?
Что же тут удивительного, плечами пожала Линда.

Профессор был молод, он и сейчас не стар.
Бретт в этой логике от нее отставал солидно.
В закате плавился его загар.
В патио Регентского дворца «Сараевские виртуозы»
Раскачивают Баха заворачивающую качель.
В те дни они еще не носили в футлярах «Узи»,
Но только лишь скрипки аль там виолончель.
Над патио те же звезды висят, что и над Одиссеем
Висели, когда по волнам тот бежал,
промахнувшись, мимо Итак.
Итак, все те же звезды свой свет рассеивают,
И луна все та же висит, как танк,
То есть в японском смысле, то есть неграмотно,
Танки ради рифмы вползают в пейзаж,
Ну а небо втискивается в раму ту,
Что плетут «Виртуозы Сараева», впадая в раж.
Как обычно в начале камерного концерта,
Публика думает рассеянно о пустяках:
О расходах, доходах, о жизни и смерти,
Делая вид, что витает, как истая меломания, в мечтах.
Но вот незаметно джентльмены, и леди,
И партийные товарищи уплывают в тот край,
К той, рожденной от Леды и Лебеда,
Где гремит в звоне бронзы троянский грай.
Ну а скрипки поют: Мы живем одновременно
В разных, странно пересекающихся мирах.
Циркуляция крови, изливание семени,
формулировка в зародыша и расшифровка в прах.
Жизнь ли протекает, как музыкальная фраза?
Всякое ли мгновение жаждет слова «замри»?
Как же нет красоты, если есть безобразие?
Фуга затягивает патио в свой ритм,
Который вдруг нарушается шлепаньем тела на мрамор
И последующим ударом башки.

Это Бретт так вторгается в величие храма,
Вырубаясь из мгновения, где, словно божки,
«Виртуозы Сараева» в мусульманстве,
в христианстве, в еврействе
Продолжают выпиливать, выдувать и выстукивать то,
Что нам Бах преподнес как церковное действо
Для отвлечения мыслей от миллионных лотто.
Завизжала в ужасе оранжевощекая Линда,
К телефону промчался животворный индус,
Англичанин склонился над телом, бородастый и длинный.
Стал массировать сердце и щупать пульс.
Виртуозы играли, пальцы не корчились.
В публике иные посапывали в мечтах о лотто,
Знатоки барокко иные поморщивались:
С этими обмороками получается что-то не то.
Ташим тело в тугих, облегающих джинсах.
Будто рыба влачится мускулистая длань.
Будто мы, рыбаки с берегов палестинских,
Ташим к варварам в лагерь свежую дань.
Вот по мраморным плитам и сама словно мрамор
Подъезжает карета, полумесяц и крест,
Отражаясь в отражении музыкального храма,
Предлагает пострадавшему медицинский арест.
Что случилось, вдруг встал в искореженной мине
Бретт; отличник, красавец, пловец, скалолаз.
Ничего, ничего, просто Зевса мизинец
Невзначай вам вlepил шелобан между глаз.
Он, качаясь, стоит, в изумлении пялится,
Будто видит весь мир в опрокинутом сне,
Будто хочет спросить у Зевесова пальца:
Почему сей удар предназначен был именно мне?
Вот такая случилась история среди льющейся фуги
Под аркадами и башнями Рагузы за год
до славянской резни.

Все всегда возвращается восвояси, на круги,
Средь лиловых цветов и холстин пресвятой белизны.
В «Бельвью», не предвидя войны,
Танцует цветущая Линда
В ламбадной ораве шпаны
С партнером, веселым и длинным.
Платоновский Демиург
Над ним поработал неплохо:
Во-первых, он нейрохирург,
А в-третьих, гуляка из Сохо.
Увы, он вздыхает, наш Бретт
Отправлен на Запад лечиться.
Ответов по-прежнему нет,
А жизнь, как положено, мчится.
Средь множества аневризм
Есть времени аневризма.
Увидишь ее, не соври,
Не выдумай афоризма.
Так юный твердил филóсоф.
На Север крутили колеса.
Символики колесо
Пытался раззять филосóф.
В Дубровнике на часах,
Быть может, осталась примета,
Но вскоре война началась,
И все позабыли про Бретта.

Стих, который далее приводится, — монолог физика, бывшего одним из ликвидаторов последствий Чернобыльского взрыва. В нем выражается историческая ирония и жертвеннический порыв поколения «шестидесятников».

ФИЗОЛИРИКА

Монолог Черноусенко

Черный ус, черный ус, черный ус моих предков витал
В запорожском пространстве, в периметре черных дыр,
И когда кандидатскую диссертацию защищал,
Перепутались формулы с дыр-бул-щил.
«Комсомолец» разваливался по частям.
Говорили ему: В океан не ходи!
Пионерское детство, однако, блюло на часах
Большевицкую физику вместе с Роже Гароди.
Америций-120 шестнадцать веков проникал
В эпителий народа, творя абсурдизм во плоти,
А другой америций, как сытый, икал,
За шестнадцать минут все пожрав на пути.
Петра Келли, я думал, что ты коммунист,
Не сочувствовал «зеленым», думал: изъян!
А теперь просто вижу, как ты падаешь вниз,
И с тобой — генерал Бастиан.
То ли падаешь вверх средь кометных шиншилл:
Исчезает зеленый германский рай.
Черен был черный дыр, черный бул, черный щил.
Ауфвидерзеен, майн самурай!
Как мы молоды были, когда курили махру
И строили совковые атомные города!
Кругло-квадратный большевицкий хрущ
Даты жирного счастья назначал тогда.
Физик лирика сильно тогда понимал,
В твисте огненном крутил Тарковский Андрей,
Индустрия маячила свой шершавый маяк,
Дул по строчкам гиперборей.
Возникал мотоцикл, возникает и нынче он, мча,
И махновцем загульным ревет, матерясь
в самогонном плясу.

Раздави на лету, мотоцикл, паука-стукача
И возникни опять, словно Фауст, продавшийся псу!
Кто продулся в той сделке, чей слаще искус?
Черный пудель крутит свой хвост.
Пожирающий время Чернобыль, как кактус,
топорщит свой ус.
Древо жизни шумит, ДНК приглашает в хаос.
Кто трехглавых телят не видал, пригласим
К речке Припять, припять ее гать,
Над которой развесил красные свои волосы
Всесоюзный физический гад.
В мексиканской глуши суждено мне пропасть.
Отдаю свое сердце жрецу!
Вот и лопасти плоско лопатят лопасть:
Стокопытно лететь жеребцу!
Кто прислал мне такой стокопытный презент,
Сам себя бьющий вспышками шпор?
Опускается в койку мою Президент,
Приглашает в «Эксцельсиор».

НЕГАТИВ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ГЕРОЯ

Мезозойское море. Снижающийся птеродактиль.
Бесконечные мелкие волны катятся из пустоты
в пустоту.
Примитивная рифма втягивает в амфибрахий и дактиль.
Прозаический метр, однако, все еще на посту
Динозавром на горизонте.

В наше время это взморье напоминало Невский в час гуляний. Шествовали отцы семейств, всевозможные Александры Борисовичи. С ними — матроны и дети в возрасте пубертальных влияний. Были и половозрелые девы, эдакие ирисочки. Кнопочный зонтик

Казался чудом. Шерсть и нейлон обтягивали гениталии. «Спидолы» сквозь глушение вытягивали соблазн. Рифмой к гениталиям, разумеется, была Италия. Публика грезила Сингапуром-под-вопли-обезьян. Готланд был рядом, хоть близкий, да не наш.

Ненашенский, ухмылялись некоторые супермены. Прямоком через море, всего лишь сто миль. Махнуть — и конец этому вечному рабству, полная перемена. Вместо нашенской абракадабры — ненашенский, готландский стиль. Закатный мираж

Собирал созерцателей. Товарищи, зеленый луч! Редчайшее оптическое явление балтийских зорь. Потряхивайте калейдоскопчик радужных туч, страхивайте меланхолию и всяческую хворь! Дышите глубже у моря мечты!

Позднее оказалось, что море мечты кишечной палочкой кишит. Испражнения Джагернаута. Радиоактивная истерия. Печальный финал прибалтийского раута. Предотъездная дизентерия. Закачались прощальные мачты.

Отчалили все Александры Борисовичи. Бадминтоны их дочек растаяли, как энзю. Нынче небось летают над иудейскими кипарисами. Здешнее побережье свобода вымела атлантическим помелом. Ни взора, о друг мой, ни вздоха.

Осталось лишь мезозойское море. Вдоль него я иду пятнадцать лет спустя. Одичавшие чайки учатся кричать в миноре. Да кишечные палочки кружатся в волнах, блестя. В общем, неплохо.

Издалека по кромке моря приближается негатив Юры Ренья. Визитная карточка поздних шестидесятых. Все те

же майка и шорты в память о той старине. Все та же легкая походочка и детский взгляд из-под волос косматых. Вопрошающая эпоха.

Уже различается загорелое совиное личико и тонкий нос. Все тот же UCLA на груди, предмет отваги. Юрка Ренье, шестидесятник-барбос. Немало детских идей он поверил многострадальной бумаге. Мечтал о лондонском Сохо.

При виде этого мальчика бычился мент. Бородою и гривою он опровергал устои. Что же лишает его позитивного облика в этот момент? Что же мешает выйти в положительные герои? Сближаемся, вокруг пустыня.

Бывший дантист, то есть поклонник Данта, бывший юрист, то есть просто Юрка, позднее он вырос в приличного музыканта, а также в весьма приличного драматурга. Нет, он не в Палестине

И не в Берлине. Не в ЭлЭй и не в ДиСи. Остался тут. Кто-то ведь должен был позитивно оккупировать данную территорию. Из великой традиции нелегко выпрыгнуть с парашютом. Ностальгия так или иначе привязывает к истории. В положительном смысле.

Сближаемся, он поднимает руки, как бы восклицая: «Вася!» Кто бы подумал, так вот запросто, собственной персоной, тут! Почему же что-то отрицательное видится мне сейчас в его ипостаси? Как будто он не был когда-то душой стоматологического или физико-технического института. Как будто все-таки смылся.

Смылся и несколько видоизменился. Приобрел некоторый негатив противовесом к своей позитивной карри-

кулум витэ. Юра Ренье. Он даже здесь, в окрестном Доме творчества, среди ублюдков-писателей слыл положительным героем. Обожал соседских девятиклассниц, пионерок феллацио. Учил их слушать джаз. Джаз надо уметь слушать, девчонки! Не просто притопывать. Знаменитые негры говорят: джаз надо есть. Ит ит, вот так-то. Стоит также научиться двигаться в джазовой волне. Двадцатый век убывает, девчонки, учитесь, пока не поздно. Потом он стал жениться на этих девятиклассницах, то на одной, то на другой, всего их было не менее трех. Нередко приезжал с ними то в Коктебель, то в Домбай, знакомил с персонажами романа «Ожог», не к ночи будь помянут. Он знал этот роман почти наизусть, под гитару мог петь его целыми главами. Иногда отправлялся на последние деньги в отдаленный город, скажем, в Москву, если там обнаруживался кусок черновика со сквернословиями. Что касается денег, то у него их не было никогда, однако всегда доставал, если товарищ нуждался. Алкоголь его не колыхал, но за компанию без промедления гудел на славу этот Юра Ренье, представитель своего поколения. Вот это у него было обострено до высочайшей степени. Еще в школе грезил баррикадами Будапешта. Не обошла его своей сыпью и поэтическая лихорадка. Вместе со всеми он уходил в подполье и выныривал оттуда, сияя детскими глазками и потрясая очками в проволочной оправе. Мы наступаем, старики! Мы снова идем вперед! Так он вступил в «Клуб кино имени Хичкока» при ЦК комсомола Латвии для того, чтобы там устроить манифестацию своего поколения с джазом, сюрреализмом и кришнаизмом, за что был бит внуками «красных стрелков». Эх, Юра Ренье, ты забросил блистательный зубопротезный и физико-математический бизнес для того, чтобы быть со «своими», то есть с теми самыми 0,01 процента, что не голосовали за коммунизм. К тебе относились с улыбкой, хотя ты представлял еще меньшую вели-

чину, то есть одну тысячную процента, то есть настоящих положительных героев, тогда как большинство меньшинства были либо притворами, либо неврастениками. Ты прошел через все «подписанства» и «отказничества», а когда распался «отказ», ты остался, потому что подспудно всегда понимал положительность своей роли, то есть знал, что без тебя невозможно. Откуда он взялся здесь в сей мезозойский час и почему направляется прямо ко мне через миллиард совпадений? Я ни разу не вспомнил о нем за пятнадцать лет — и вот такая замечательная встреча. Он приближается с нарастающей улыбкой. К чему мне готовиться — к рукопожатию, к объятию, к поцелую? Как мне понять внезапную отрицательность этого позитива?

Птеродактиль заканчивает затянувшийся полет. Опускается к опустошенному пляжу. Из-под крыльев ухмыляется очкастый пилот. ВВС балтийской страны. Задница в камуфляже. Все чин по чину.

Все так же на горизонте маячит плавкран. Тщится взглянуться в белесое завтра. Не дотянули решающий пятилетний план. Бросили внушительного динозавра. Клевать железную мертвечину.

Юра Ренье между тем по-прежнему в своей роли. Приближаясь, сияет совиным личиком молодым. В обрамлении, или, лучше сказать, в ореоле. Белоснежных косм и седой бороды. Вот в чем причина.

«Ну вот — отшутовался»

Название романа «НОВЫЙ СЛАДОСТНЫЙ СТИЛЬ» взято из глубин Раннего Ренессанса. Так называлась во Флоренции школа новой лирики, лидерами которой были два Гвидо — Гвиницелли и Кавальканте. Позднее к ним присоединился юный Дант.

В этом романе поэтические куски, или проще сказать стихотворения, следуют строго в промежутках между главами.

Советскому изгнаннику, барду и режиссеру Александру Корбаху под переборы гитары видится что-то похожее на похороны Высоцкого или свое собственное последнее путешествие.

ПРОЦЕССИЯ

Толкнуло что-то или сам сорвался?
Любви ль укол иль паровой утюг
Низвергнулся? Ну вот — отшутовался,
Отпсиховался, брякнулся, утих.

С Таганки, через Язу, к Солянке
Все тянется печальная процессия,
Парит над ней душа его, беглянка,
В парах тоски и возбужденья Цельсия.

Влечется тело к пышностям ботаники
В номенклатурный усыпальный парк.
Так оседают в глубину «титаники»,
Задув огни и выпустив весь пар.

Музыка озаряется Моцартом,
Но меркнет в заунывной какофонии.
Прощай, акустики волнующее царство,
Прощайте, мании и вместе с ними фобии.

Везде торчат отряды безопасности,
В чаду чудовищный чернеет водомет,
И воронье с распахнутыми пастями
Изображает неких ведьм полет.

Толпа в сто тысяч с грузностью колышется,
Как будто жаждет жалкого реванша.
Под ней цемент России грязно крошится,
Так соль крошится на берегах Сиваша.

Плывет невысоко над катафалком
Его энергия, иль то, что называл
Душою он, оставив поле свалки,
Еще не рвется отойти в астрал.

Она взирает все на оболочку
Его короткой ненаглядной жизни,
Еще не в силах увидеть воочию
Сонм русских душ над кровельною жестью.

Умели спрыгнуть жалкие останки
В сальто-мортале на скаку с коня
И в марафоне продержаться стойко
С другими «колесницами огня».

Они когда-то возжигались страстью —
Так верой в Храм горит израильтянин, —
Не знали мук, не ведали о старости,
Как птицы, что поют: не зря летали!

Гемоглобином насыщались клетки,
Казался вечным жизненный процесс,
Когда вдруг полетели все заклепки,
Как будто гарпий отпустил Персей.

Теперь их ампула лишь «бедный Йорик».
В последний путь шута и каботена
Пусть пронесут советские майоры,
Как в Дании четыре капитана.

Астрал пред ним встает холстом Филонова,
Скоплением форм вне классов и вне наций,
Как будто всю парсуну начал заново
Чахоточный титан, знаток новаций.

Еще влечет к себе Земли энергия,
Все имена цветов, святых, планет,
От Андромед до Пресвятого Сергия,
Хоть тех имен вне кислорода нет.

Слова ушли, и возникают сути.
Надмирный свод в нерукотворной Торе
Сверкает, как невидимые соты,
На радость ангелам и дьяволам на горе.

Прощай и здравствуй. Над высотным шпилем —
Барокко Сталина, палаццо ЭмПээС —
Парит певец, один в надмирном штيله,
А у ноги парит послушный пес.

Так всякий раз к приходу новой сути
Родные духи поспешают снизиться
Порой на самый край телесной жути,
Как нимбы света в кафедральной ризнице.

На дне приходит очередь стакана.
Пролилась горем, водкою сушишь,
Москва! Она прокатывается стаккато
И выпивает за помин души.

БУЛЬВАР

*Здесь пролетает одно из трудноуловимых
ощущений детства; предощущение жизни*

Ты родилась, должно быть, в некий час,
Когда в кино я прятался от школы.
На выходе, услышав крик грача,
Я задрожал, десятилетний шкода.

Был мрачный день, и тучи, громоздясь,
Касались пузами московских вышек.
У светофора скапливалась гроздь
Блеющих горнами трофейных бээмвэшек.

Ковбойский фильм, грачи и тяжесть туч,
В конце бульвара Сталин в серой форме —
Все как-то сдвинулось, но как, не мог постичь.
Вдруг показалось, что за Трубной море

Шумит, как продолжение кино,
И в этом мире я не одинок.

Алекс Корбах в одиночестве с помощью гитары
вспоминает шум театра.

ПРЕМЬЕРА

Вся жизнь, быть может, Рим, который
Без всяких вольностей и трат
Тебя поставит на котурны
И скажет: начинай театр!

Ночь. В освещенном переулке
Стоит взыскательный бомонд.
Франтихи там трещат, как галки,
А снобы курят «Беломор».

Вот-вот начнется. Гром пролога
Тряхнет вчерашний «Вторчермет».
Квадрига вломится с телегой
В большой модерн, очерченев.

Ты начинаешь. Гром оваций
Башку дурит, как кокаин,
Твои таланты-хитрованцы
Бурлят везде, лишь око кинь.

Ты — ветродуй, с порывом смеха
Ты бойко отлетаешь вдаль,
Но тяжелой оплеухой
Тебе предложена дуэль.

Паяц и гранд в бродяжьем стане,
Жизнь для тебя — арбузный срез.
Ты столько умирал на сцене,
Не думая про смерть всерьез.

Мой расторопный кабальеро,
Герой Английских Променад,
Там кто-то подменил рапиры,
Рифмуя яд и зов наяд.

Такая малая накладка
В миг перекроет кислород,
И ты, как сбитая подлодка,
В пучину втянешься, милорд.

В часы иль в миги угасанья,
Увы, угаснет каламбур,
Погасит лампы гасиенда
И предкаминный кубометр.

Париж погаснет, слет балетный,
И копенгагенский подвал,
И стихотворство в Кобулетах,
Где так блаженно поддавал.

Слетает роци пропаганда
И меркнет склон Высоких Татр.
Последнее, что пропадает, —
В ночи светящийся театр.

ТЕРРАСА

*В полубредовых картинах проскальзывают тени
«Божественной комедии»*

Где в Вашингтоне можно опохмелиться
На халяву, то есть как полный «бам»*?

* bum — бродяга (англ.).

Так вопрошают без постоянного местожительства лица,
У которых лишь зажеванный чуингам
Скрыт за щекой, а в кармане ни цента,
У которых совесть расхлябана, но хитрость мудра,
Ну вот вы и появляетесь на террасе Кеннеди-центра
В четыре с четвертью, с проблесками утра.
Главное — явиться в единственном экземпляре!
Ивы там шелестят, словно детские сны.
Утренний мир в перевернутом окуляре
Предъявляет свой главный план — недопитые стаканы.
Прошлой ночью тут слушали Ростроповича,
А в перерыве, по-светски, потягивали шампань.
Рослые дамы прятали в стеклышки опыт очей,
Нежно зубная поигрывала филигрань.
За разговорами многое недопито,
Или недопито, стало добычей бомжá,
Пять-семь бокальчиков — вот вам и пинта,
Можете радость свою существенно умножать.
Достопочтенный Мстислав Леопольдович,
Слава, спасибо за матине!
Мрамор скользит, будто тащитесь по льду вы,
Тень растекается на стене.
Затем высвечивается тень пантеры,
И вы ей салютуете, обнаглев,
Но тут за зеркальной рифмой-гетерой
Монстр пробуждается, рьян и лев.
Следом исчадие бурелома со взъерошенной холкой,
В перьях вороньих от хвоста до клювиц,
Будто бы вестница Холокоста,
Выпрыгивает алчнейшая из волчиц.
Призраков отражения, кошмары гадалки,
Отражает пуговицами генеральский сюртук,
Это над Джорджтауном в кресле-каталке
Проезжает похабнейшая из старух.
Ножищи ее укрыты отменнейшим пончо,

Через плечо бородачи, будто полярный песец,
Все же сверкает один генеральский погончик,
А в зубах дымится сигара за тысячу песет.
Пару бокальчиков подцепив у фонтана,
Баба щурится, как перед криком «пли!»,
Революции призрак и марксизма фантомы
Снова прицеливаются в капитализм.
Ну, прямо скажем, задалась опохмелка!
Кто ты, старуха? Не крутись, ответь!
Что представляешь ты здесь с ухмылкой,
Жижу теории или практики твердь?
Правда ли то, что в стакане недопитом
Мысли остаются, а если так,
О чем это общество, духами пропитанное,
Думало здесь сквозь светский такт?
Генерал по-испански хохочет скверно.
Слышится топот буденновских кавалькад.
Все они думают лишь об «инферно».
Все они видят лишь свалку и ад.
Она удаляется с долгим подмигом,
Солнце встает за мостами Потóмака
И, удаляясь, поет, как Доминго,
Ноты вытаскивая из котомки.
Вы остаетесь, застенчивый бомжик,
Двадцать пластиковых бокалов опорожняя,
Шепчете: Боже, все милостивейший Боже,
Дай мне прилечь возле твоего урожая.

Один из калифорнийских авангардных театров ставит фантазию по мотивам хлебниковской «Зангези» в переводе американского поэта Пола Шмидта. В последней строфе-отсебятине вспоминаются принцессы русского футуризма, сестры Синяковы.

Nickery, flickery,
Little stewball!
Coackery, catchery,
Tortury, mortury,
Matchery catchery,
Witchery watchery —
Evens in heavens
As evening descends,
Nickery, flickery,
Little stewball!
The storm is a seance
That I can see,
Signs of a science
The eye can see.
Hello, freedom,
Goodbye, force!
Giddyap, giddyap,
My good horse!

* * *

Willow tresses,
Oh, my amorous flu!
Sisters in their elegant dresses,
The eyes are blindingly blue!
Push it or press it,
Ya vas Lyubblue!*

* Иверни, выверни, / Умный игрень! / Кучери тучери, / Мучери, ночери, /
Точери тучери, / Вечери очери, / Четками чуткими / Пали зари, /
Иверни, выверни, / Умный игрень! / Это на око / Ночная гроза, / Это
наука / Легла на глаза! / В дол свободы / Без погонь! / Ходы, ходы! /
Добрый конь. — В.Хлебников. *Зангези. Перевод на английский*
П.Шмидта.
Косицины ивы, / Насморк влюбленности. / Сестрицы красивы, / До
ослепленности! / Глазу отрада — / Хоть стой, хоть падай! — *английский*
и русский тексты автора.

Алекс выступает на всемирном съезде Корбахов
с импровизацией на русские темы. Триумф!

Гой, Россия, родина наша превеликая,
одноглазая, хоть и многоликая.
Гой, страдальца наша, молчальница,
тянешь ляжку ты вдоль своих берегов.
Запетляли твой след волчьи клики и
заморочили мóроки средь гнилых стогов.

Ой, да на печальнейших нашей родины пажитях
только тени плывут, скорбных теней гурты,
лучик солнышка тут не кажется...

И вдруг на парашютах спускаются «Шуты»!

Шуты на парашютах
спускаются с небес!
Шутихи ради шуток
зажгли весельем лес!

Трам паракарналия,
трам ба сон,
пробио псидарио,
хавели о кария,
где-то прогулялся брюхатый гром.
Громио мербулио,
кувырком!

Шли боярышни в горохе,
а за ними скоморохи
увивались, колбасилися,
и в горохе под забором
три опенка с мухомором

появились!
Народились!

Знаю «право», знаю «лево»,
Их марширт под барабан!
Я из города Генева
мушкетерский капитан!
Брум параферналия,
брэм бап чист,
прима вер чихалия,
вакха бах каналаия,
запп лапп тист!
На полях Европы
канонадный жар,
кони мчат галопом!
Гутен таг, майн цар!
Брам уратро брешник,
фру эр рой,
фруеробугешник
проз дры крой!

Волк на лодочке, на лодочке, на лодочке плывет,
лиса в новеньких ботиночках по бережку идет!
Волк все к бережку, все к бережку, все к бережку гребет,
лиса хвостиком все к лодочке, все к лодочке метет.
И все никак не встретятся, никак не поцалуются...

С шутами что вам остается делать?
До черной меланхолии заставить водку пить?
Горло ли поломать, чтобы не свиристело?
Орденом ли украсить, пулею подкупить?
Нет, негодяи грязные,
стражники нищеты,

не напугаете казнями!
Шутуют вовсю шуты!

Трам да ди валянда,
карамон барух,
дарадон дуранда,
оп ле ух!

В следующем стихотворении фигурируют некоторые фигуры одной порабощенной земли, которую в Российской Федерации до сих пор называют Островом свободы.

ПЕСНЯ СТАРУХИ

Всегда я знал, что похож,
В анналах борьбы снуя.
Как и она пригож,
Но это не я!

Мне говорили: «Фидель!»
Верность идеям вождя
Я сохранил — в чистоте ль? —
До следующего дождя.

Время, когда народ
Мне запретил курить,
Было порой невзгод,
Словно судьба Курил.

Архипелаг зубов
В зеркале века мерцал,
Средь генеральских зобов
В пятнышках, как маца.

Рому с... и... потреблял,
Слушал ударный марш.
Реют знамена, бля,
Словно на коже шрам.

В кресло-каталку сигал.
Дай мне взамен скотин.
Родина всех сигар,
Благостный никотин!

Бегству древнюю дань,
Как молодой, платил.
Так бы вот Имре Надь
Гнал по Дунаю плоты.

Брови и плечи взвинтил,
Будто бы в сферы вхож.
Так я покинул синклит
Крупнокалиберных рож.

Пусть уж меня извинит
Та, на кого похож.

В каждой станце баллады «Лев в Алиото» вторая строчка дана по-английски. Она рифмуется с каждой четвертой русской строкой. Например: shores — шпор; destination — гейши.

ЛЕВ В АЛИОТО

Морской лев резвится у рыбацкого причала...

A sea-lion plays near the Fishermen's Wharf.

Третий раз за пять лет прихожу в ресторан «Алиото».

Меня тут не забыли, помнят, что не вор.

Прошлый раз приветствовал сам синьор Акселотл.

С тех пор тот лев не постарел...

Since then that sea-lion hasn't grown old,
Беженец моря ретив и, пожалуй, развязен.
Не скажешь, однако, что и чертовски молод.
Временами даже смешон в своем куртуазе.

К львицам залива Сан-Франциско...

Toward the lionesses of the San Francisco Bay.
Хочется напомнить ему, как шаман шаману:
Хоть вы и хулиган, батоно, но все-таки не плебей,
Чтобы ради шайки блядей этой бухты предстать
атаманом.

**Где ты рассеял свое семя, свое потомство, все капли
своей джизмы?**

Where have you scattered your seed, your posterity,
all drops of your jism?
Могут его спросить в час алкогольного сухостоя.
Можете ли по-комсомольски оценить свою жизнь,
Ту, что плескали когда-то в пучины, не зная покоя?

Найдешь ли лучшее убежище для ёбаря на покое?

Could one find a better refuge for a retired stud?
Трудно найти веселее проток в пацифистском
пространстве:
Салаты, селетки, красотки из блядских стад,
Словом, все, что потоком течет из местного
ресторанства.

Мэтр Акселотл возникает как типаж из моего шедевра...

Mâitre Akselotl comes up as a type from my major oeuvre.
Буно джорно, Алессандро! Вам привет от Грапелли.

Я вижу, вас занимает там, внизу, этот майор Моржов?
Должно быть, проводите двусмысленные параллели?

**Он является сюда, неизменно под газом, раз в год
или два...**

He comes here, always inebriated, once in a year, or two.
Отчасти это похоже на побывки опытного маримана.
Неделя дебоша, и он сваливает в пустоту,
Иными словами, сэр, на просторы мир. океана.

**Не говорите мне, Акселотл, что вы можете его
различить...**

Don't tell me, Akselotl, you can distinguish him
Из миллиона морльвов в их гедонистском раже.
Уж не по рожам же, право, вечно бухим?
Как вы можете выделить эту вечно нахальную рожу?

Послушайте, Алессандро, вы видели его левый клык?

Listen, Alessandro, have you seen his left fang?
Метрдетель наклоняется, таинственно подсвечен.
Левый клык у него золотой, как саудовский танк.
Вот по этому признаку он может быть нами вечно отмечен.

Вскоре после того обеда, в час заката...

Shortly after that dinner, by the time of sunset,
Когда ляпис-лазури и индиго фронтиспис
Отражал весь большой океанский трепещущий свет
На стеклянных боках центрального Сан-Франциско,

Кто-то сделал на компьютере двойной «клик»...

Somebody made in his «apple» a double click,
Отражением отражения вспыхнуло время,

И с пронзительным чувством я узрел золотой клык
Уплывающего в открытые просторы морзверя.

Он покидает, друзья, эти обильные берега...

He is leaving, my friends, these opulent shores,
Покидает обжорные причалы и грязные сливы,
Скорость нарастает, как под ударами шпор,
Зуб, однако, поблескивает в прощальном «Счастливо!».

Он делает вид, что знает свой новый маршрут...

He's pretending he knows his new destination,
Будто бы знает не только средство, но также и цель
Там, на другой стороне океана, где мытые чистые гейши
Станцуют ему апофеоз из балета «Жизель».

Грудь его, еще мощная, раздвигает течения,

Он плывет к горизонту, где время качается,
будто смерча нога,
Зуб его золотой излучает свечение.
He is going, going, going, mafiozo and merchant... Gone!

Он уходит, уходит, уходит, мафиозо-купчина... Пропал!

ЧУДО В АТЛАНТЕ

Однажды бес занес меня
В аэропорт Атланты.
Своей огромностью маня,
Он был сродни Атланту,
Негоцианту,

Тому, что шар наш приволок
В торговую арену

И там стоит, не сдвинув ног
И не назначив цену.

Хорош «челнок»!

Все было тут с плеча верзил,
Столицам по ранжиру.
Подземный поезд развозил
Толпищи пассажиров,
Гуляк, транжиров.

Увидеть перуанских лам,
Услышать перезвоны
Тибетских лам, и по делам
Взлетали авионы.

Всем им шалом!

В суме, висящей на плече,
Ташил свою я утварь,
Когда вдруг началось чепе:
Центральный сел компьютер.
В одно из утр.

Толпа кричит, как грай ворон.
Кружится хаос адский.
У всех ворот водоворот:
Ни взлета, ни посадки!
Вали, народ!

Уже был съеден весь попкорн.
Запал угас в унынье,
И на полу среди колонн
Народ полег, как свиньи.
Вот вам и свинги!

Вдобавок к этому, друзья,
Взыграла stormy weather,
Из тех, что не осмелюсь я
Зарифмовать с together.

Прощайте, грезы!

Как космы черной бороды,
Качалась вся округа.
С огромной массой воды
Тайфун явился «Хьюго».

Порвал бразды.

Казалось, треснет свод опор,
И хлынет стынь из трещин,
И рухнет весь аэропорт,
Как Атлантида-стейшн.

Завалит грешных.

Я в Айриш-пабе присягал
На верность белу свету,
Когда бармен вдруг дал сигнал
И крикнул: «Пива нету!»

Без этикету.

Иссякло пиво! Кто бы мог
Сухим представить днище?!
Растряса земли, кислотный смог —
Все было бы попроще.

Где пива сыщешь?

Вдруг к стойке бара меж кирюх
Прошла младая дама,

Мудра, как сонмище старух,
Свежа, как дочь Адама.
И шелест брюк!

Весь свет затих, узрев красу,
Забыв о молний сваре.
Светясь, спустился парашют
С гондолы Портинари.
Взяла «Кампари».

Протрепетала сотня лип,
Процокали подковы,
И вдруг запел какой-то тип,
Жонглер из графств Московии,
Хрипат и сипл.

«Пропитых связок аппарат
Не годен для кансоны,
И все же, братья, воспарю
С кансоною для донны,
Столь окрыленный

Ее божественной красой
И благородством жестов!
Так грезит старый кирасир
О молодой невесте:
Он не из жести!

Мы не встречали этих глаз,
Пожалуй, семь столетий,
А тот, кто к сальностям горазд,
Наказан будет плетью.
Таков мой сказ.

О ты, чистейшая из жен,
Прими мою музыку!
Ведь я Амуром поражен,
Хоть и ору тут зыком,
Под звездным знаком.

Стожары греют небосвод,
Вселяют жар в мужчину.
Не там ли мир святых свобод,
Не там ли все причины,
О чем кричим мы?

Ты видишь, наша жизнь пошла,
Потерян смысл отличий.
Скажи, откуда ты сошла,
Святая Беатриче,
В наш бранный шлак?»

Он оглянулся. Все вокруг
Молились без опаски,
Майамский загорелый друг
И мужичок с Аляски,
Адепты ласки.

Один почтенный джентльмен,
Чикагский венеролог,
Держа на вилочке пельмень,
Вдруг разразился соло
Вслед за жонглером.

Он пел о шалостях любви,
Венериных проказах,

О том, как мало соловьи
Пекутся о стрекозах
И о занозах.

Святая Дама, он молил,
Пошли нам жар без мошек,
Сироп священный без смолы,
Сады без мандавошек
И черствых плюшек.

Весь клуб мужчин запел вослед:
Строитель, жулик, лектор,
Мулов погонщик и ослов
И хомисайд-инспектор.
Так много слов!

Святая Дама, укажи
Обратный путь в за-древность,
Где не пускала в ход ножи
Любви убийца, ревность,
Сестрица лжи.

Засим настал разлуки миг.
Вертеп ирландский дрогнул.
Тревожно изогнулся мим,
Поэт скривился, вогнут,
Тоской томим.

Парижский вскрикнул брадобрей,
Заплакал жрец науки.
Тут был объявлен первый рейс:
«Юнайтед», на Кентукки.
Будь к нам добрей!

Так ничего и не сказав,
Она сошла со стула,
Бела, как горная коза,
Легка и не сутула.
Как ветром сдуло.

И всякий, кто в быту суров,
И те, кто к сласти падки,
Смотрели, как сквозь блеск шаров
Она идет к посадке.
Бесшумный взрыв

В ее «Кампари» просиял.
Бесшумны были вопли.
Фонтан взлетал и угасал.
На всех пришлось по капле.
И сны усопли.

Все, о чем поется в этом сочинении, видел собственными глазами: сначала пропало пиво, потом появилась Беатриче.

ГРАНИЦА

Ты спрашиваешь, как я его вижу. То в виде облака,
То как поле, над которым стоит дождь.
Иногда это ладонь с протянутым яблоком,
Иногда проходящий с шуршащим подолом венецианский
дож.

То он текуч, как фарватер сильной реки,
То он летуч, как амурчик в ветвях рококо,
То он сыпуч, словно мера пшеничной муки,
То он кудряв, как еврейский комбат РККА.

Сын мой, молчит он, и я понимаю невидимого отца,
Хоть не встречались мы с ним никогда на дорожках
земли.

Храм пред собою я вижу то ли с фасада, то ли с торца,
Вишни ли цвет наплывает, или выюги его замели.
Понимаю нелепость вопросов: «Ты там или здесь?»
«Иудей или эллин, то есть еврей или грек?»
Он идет по полям и ведет свою лошадь в узде,
А за ним, как закат, поднимается в поле наш грех.
Это то, что осталось меж нами и что заставляет молить
О прощенье, о жалости, о ненасытной любовной печали.
Как Израиль стоит, умоляя, пред горсткой олим,
Так и мы с ним взираем на кружево темной печати.
Ты спрашиваешь: в чем гнездится тот грех?
Темнота подступает, все теснее сближаются лица,
Дождь идет за окном и стучит, как горох,
Два скворца прижились в опустевшей, теряющей стекла
теплице.

А отец уплывает, как шелестящий под утро платан,
Или как кружащееся весло, что предлагает нам в дар
река,
Или как стучающие шпалы железнодорожного полотна,
Или как расстрелянный в своей кудрявости комбат РККА.

Он никогда не видел своего отца наяву, но много
раз во сне, то есть в приграничном пространстве.

THREE POINTS OF VIEW

There was a man of well known a nation,
He was worth of a modest quotation.
Having beer once he said,
You can grasp outset,
You cannot understand termination.

Once a pirate was freed from a jail.
He has grumbled whilst hoisting his sail,
There is a sense in the end of detention,
No sense in its bloody inception,
As you turn into filthy a snail.

Mused a huge crocodile in the Nile
After loading his spacious file:
There are no the onsets, or ends,
Only bliss for your digestive glands,
Just completion as long as a mile.

Написано по-английски в стиле традиционных
«лимерикс» и здесь же мой перевод*.

НОЧЬЮ НА ПЬЯЦЦА ЦИСЦЕРНА

Средь кружев каменных проходит чуткий Дант.
На галерее Каменная Донна,
Чей облик был ему в соблазны дан,
Стоит в шелках из пышного Лиона.

Они сближаются, он поднимает вверх
Кусок Луны, его с ума сводящий.
Сан-Джиминиано покрывает грех
И открывает драгоценный ящик.

* Три точки зрения

Жил один мужичок в дальних штатах, / Он достоин скромнейшей штататы. / Дуя пиво, сказал он: / Понимаю начало. / Не пойму завершения расплаты. / Раз пират, отсидевший свой срок, / Молвил мрачно, почти между строк: / Понимаю конец заключения, / Не пойму осуждения мгновенье, — / Когда прячут тебя под замок. / Крокодил на реке размышлял, / Загрузив свой просторный подвал: / Ни начала нет, ни завершения, / Есть одно лишь пищеваренье, / Лишь блаженство, желез мадригал.

Он счастлив, что исторг из камня крик
И потревожил даже кромку леса,
Что не нарушил правила игры
И обратил гранит в живые чресла.

А Беатриче глянет в этот миг
И с нежностью вздохнет: о, мой повеса!

Я все это вижу довольно отчетливо, как будто сам
там стоял в тени.

«ЦИТАТА – ЭТО ЦИКАДА»

Мандельштам — это монгольфье,
Цикада — это цикута,
А Сократ, стало быть, крем-суфле,

Пути рифмовки неисповедимы.
Как по кочкам, тащишься по слогам
И воздвигаешь Колонну Вандома
У входа в мишурный балаган.

В форточку видишь ночную площадь,
Блики и промельки клоунских морд.
Там голубая, в яблоках, лошадь
Медленно ввозит твой «Амаркорд».

Выпьешь винишка, Апокалипсис
Высчитать выйдешь на старый балкон.
Вместо ответа ворохи листьев
В шорохе грянут с небесных Балкан.

Речь тут идет о неисповедимости рифмовки и о невыразимом очаровании Италии.

МАКСИМЫ

Ничто — это нечто,
Благость и нечисть.
Нечто — это что-то,
Грубая штопка.
Что-то — это ничто почти,
Телефон на закрытой почте.
Почти — это все,
Летучкой влетаешь в сон.
Все — это нечто,
Весь мир греческий.
Нечто — это ничто,
Только стая пичуг.

Я сам не знаю, что это за свод скрижалей тут получился, но если читатель удосужится перелистать «Новый сладостный стиль», он найдет там стаю пичуг.

«...Эй, друзья,
время пришло!
Сбрасывай крышу и —
повело!»

В те времена, когда я занимался радиовещанием, многие мои выступления вошли в книгу «ДЕСЯТИЛЕТИЕ КЛЕВЕТЫ», у меня иногда возникало желание просто позабавить слушателей каким-нибудь американским текстом в собственном переводе. Сейчас тоже было бы неплохо сделать небольшую танцевальную паузу.

ЛАЙОНЕЛ РИЧИ «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»

...Эй, друзья, время пришло!
Сбрасывай крышу и — повело!
Брось работу, доделаешь потом!
Музыка пусть закрутит хвостом!
Все поют и все танцуют!
Затеряйся в сабантуе!
Караму, Фиеста, танцуй народ!
Уаху, Уеху, всю ночь напролет!
Пляшет народ, и все вверх дном!
Улица в ритме пошла ходуном!
Дикая жизнь полна чудес!

Музыка вздыбилась до небес!
Прыгает по крышам до-ре-соль!
Музыка всюду взяла контроль!
Джемболи, Тамболи, танцуй, народ!
Уаху, Уеху! Ночь напролет!

НЕУКЛЮЖИЕ РИТМЫ

Лесли Врангель вышла из телефонной будки.
Бульвар Вествуд
был глух,
как лес. Красивый люд
давно
исчез.
Она пошла через улицу под желтой мигалкой.
Асфальт — как льдина,
скользит
сапог,
И ветер — в спину,
и пьяный
смог.
Она закачалась — тревожная ситуация!
Но некто — ловок,
как самурай —
Подставил локоть.
О'кей?
Олл райт!
Восстановив равновесие, она пересекла улицу.

МУЗЕИ, О, МУЗЕИ

Авторы: Майкл Стайн и Мишель Валери

Я — хадрозавр из Хагенсека,
Сто миллионов лет в отключке...

Пришел проведать человека,
О, бэби, бэби, бэби,
Как раз к получке!

Нашли мой клюв, нашли хребет,
Хвостище выскребли и прочее,
И вот я в город на обед,
О, бэби, бэби, бэби,
Пришел из-под болотной почвы.

Хор:
Музеи, о, музеи,
Какая красота!
Стою себе, глазею!
Народов пестрота!

Сто миллионов лет в болоте,
А внешний вид пока неплох,
Нос на весу, хвост на отлете,
И юмор, бэби, не засох!

Хор:
Музеи, о, музеи,
Какая красота!
Стою себе, глазею!
Народов пестрота!

Я — хадрозавр из Хагенсека
Пришел проведать человека...
О, бэби, бэби, бэби...

«Три ноты есть, все остальное — сплошной сумбур...»

Множество поэтических вылазок можно найти в одном из моих главных романов «КЕСАРЕВО СВЕЧЕНИЕ». Роман большой, в нем народу много, русский барышня идет, дайте ей дорогу. Одна такая барышня, красавица Наташа-Какаша из Санкта, затерялась где-то на мировых просторах. Ее возлюбленный Слава Горелик идет по ее следам и попадает в русский городок Березань, что в штате Нью-Хемпшир. Он населен наследием русской аристократии, и здесь-то и начинается вставленная в роман пьеса «Горе, Гора, Гореть», по сути парафраза к «Горю от ума».

Пьеса написана частично в прозе, частично в стихах. Рискую представить здесь эти стихи, которые, лишившись прозы, могут тут организовать нечто похожее на пьесу абсурда.

Перед началом действия все персонажи представляются в стихах.

Гладким ходом, по-светски, выкатывается престарелый бонвиван Пол Фэймос (Павел Фамусов).

Фэймос

Я с детства полюбил овал,
Владыкой стал горы, долины,
Богач, банкир, но фёрст оф олл*,
Создатель рифмы удлиненной!

Родная рифма, русских жар,
Ты помогла во время оно,
Когда нас голод рьяно жрал
И запивал слезой соленой.

Отцы — московские тузы,
А мамы — светские эстетки,
Поклонницы *charmante musique***,
Здесь все работали, как тетки.

Теперь я стар, души гроза
Гремит все крепче. Русским ясно:
Мы основали Березань,
Нью-Гемпшира цветущий ясень!

(Отходит в сторону.)

Бурно, словно на трассе слалома, вылетает Софи
Фэймос.

Софи

Мне минуло оснадцать лет!
Не знает сердце боли,
Когда несусь, как самолет,
Нью-гемпширским привольем!

* first of all — прежде всего (*англ.*).

** Прелестной музыки (*фр.*).

Я чемпион олимпиад!
Секунды, не спешите!
И, как поет Эдит Пиаф,
«Любовь мне в ухо дышит»!

(Отходит в сторону.)

Входит корректный молодой человек, не лишенный, правда, некоторой косолапости, что появляется у лыжников на плоской поверхности, Алекс Мамм (Молчалин).

Мамм

Уймись, волнения страсти.
Я щелкаю секундомером.
Поднимем шипучего «Асти
Спуманте»! Нас ждут гондольеры.

Как тренер, а также мужчина,
Я в сердце сижу чемпионки.
Пусть я молчалив, как машина,
Любовь — не резервная шина,
А вечности ласковой чётки.

(Отходит в сторону.)

На кресле-каталке с привязанным к спинке воздушным шариком выезжает Мими.

Мими

Мне с чем-то сто, и с чем — немало.
Век декадентства миновал.
Вглядись в неровный слой эмали,
Не там ли бродит минотавр?

Что ты, что ты, что ты, что ты?
Я солдат девятой роты,
Тридцать первого полка!
Ламца-дрица-ца-ца!

Мечты о дальних светозарах
Нас уносили на века,
Когда шалили в дортуарах,
Не ведая большевика.

Что ты, что ты, что ты, что ты?
Вот корнет в одних ботфортах
Кавалергардского полка,
Ламца-дрица-ца-ца!

Какие были джентльмены!
Плясали Пат и Паташон!
И проплясали все пельмени,
Лишь гадский вьется запашок.

Что ты, что ты, что ты, что ты?
Я из пятой разведроты
Конницы пролетарьята,
Пасть пахучая разъята.
Здесь не терпят гордеца,
Ламца-дрица-ца-ца!

(Откатывает в сторону.)

Сдержанно, тонно проходит местный электрик
граф Воронцофф.

Воронцофф

Нам внятно все — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений,

Но русский ток пока еще не смыл
Плевел злокозненных поползновений.

В родной глуши я весь аристократ,
Распространитель качеств и количеств.
Как был среди философов Сократ,
Таков и я по части электричеств.

Включая вечером в квартире свет,
Вы вызываете одно из таинств.
Сей тайны не постиг ни Ист, ни Вест,
Как непостижно то, что вносит аист.

(Отходит в сторону.)

Косолапит местный водопроводчик князь Олада.

Олада

Моя маман, равно и мой папа,
Университетов не кончали.
Вода моя текла, бурля, сопя,
Трубу нащупала упрямая стопа,
Наш княжий дух мне пел виолончелью.

На родине ужасных праотцов
Я увидел своих коллег воочью.
Зачистили мы дюжину концов;
Таков наш брат, Москвы водопроводчик!

От них я научился красоте
И краткости гулаговского сленга.
Сквозь ржавчину вода текла, рассвет
Нас пробуждал, словно детей в пеленках.

Теперь вставай, смири же боль в коленках!
И будет там вода, и твердь, и Божий Свет!

(Отходит в сторону.)

Как пара доберманов, на сцену выскакивают репортеры.

Репортеры

Воспитанники школ престижа,
Больших амбиций молодежь,
Горбатим тут среди горной стужи
И русский слушаем скулёж.

Такие выпренные рожи!
Тут впрямь становишься Толстым,
Но репортеры скачут с грыжей
И задницу бодрят хлыстом.

•
(Отходят в сторону.)

Местный сплетник с тросточкой Габи Нард (Нардин-Нащокин).

Нард

Один стоит под гнетом коромысла,
Другой горазд в перестановке смысла,
Но смешивать два этих ремесла
Есть тьма охотников — я не из их числа.

Свет, как всегда, сквозь сплетни волочится,
А я, как истовый нравоучитель,

В любом злословье, к коему влечете,
Ищу мораль и вот живу в почете.

Как ветеран компании известной,
Я укрепляю стены вам известкой,
И вот наш дом по зимам и по веснам
Нетлен стоит и одобряет сосны.

(Отходит в сторону.)

Вальсирует его супруга Лиди.

Лиди

О эти женщины Бальзака,
Мы так тревожно хороши!
Мы не чураемся бальзамов,
В букетах носик наш шуршит.

Мой муж на четверть века старше,
Пенсионер и моралист.
Я вижу, он с гондолы шара
Опровергает плюрализм.

Пенсионеркой стала в сорок,
Но уши слышат каждый лист,
Процеживают слухов ворох,
В которых смысл событий слит.

(Отходит в сторону.)

Неотразимой мэрилин-монровской походкой вы-
ходит грустная Какаша.

Какаша

Была я там, где каждый хам хамит,
Где на пол падают вонючие галоши,
Там океан, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Волна и ветер так творят разбой,
Что паруса все вспучились на флоте,
Хрипит подсунутый к губам гобой,
А мне все помнится игра на флейте.

Прощай, мой принц, грусти иль не грусти,
Какаша я, а вовсе не Елена,
Ты побросай лишь камешки в горсти
И посмотри во глубь воды зеленой.

Быть может, там увидишь свалки битв,
И медный схлёст близ мифа, возле Трои.
Что делать мне, раз в доме нету бритв?
Бежать и спрятаться в ньюгемпширском Тироле?

(Отходит в сторону.)

Походкой московского «брателло» входит Слава
Горелик.

Горелик

Мой дедушка отменных правил,
Марксизму ум свой посвящал,
А внук в ответ смотался в Ревель,
Вернулся с ненавистью к США.

Зверек трехглавый, хвостик гадкий,
Ползет, как тать, скулит шакал.

От ЩА ль удрали без оглядки
Стравинский, Бунин и Шагал?

Красотки все рванули в бегство,
Одна из них — моя жена.
К чужому подалася брегу,
Щавотиной обожжена.

Я стал большим капиталистом
И все ж, как зек, люблю лапшу.
Услышу ль я твое монисто?
Умру ль иль в звоне попляшу?

Ей двадцать три, а мне уж тридцать,
Но впереди большой роман.
Три пьесы в нем, пиры, и тризны,
И разной прозы бахрома.

(Отходит в сторону.)

Пьеса начинается. Слава сочиняет стихотворение.

С набережной Крузенштерна
Трясется в трамвае на остров Елагин.
Ёжится, будто бы в узах тёрна.
После бредет, словно узник ГУЛАГа.

Марш-барабан и рядами стальные каски.
Сколько столетий на них взирали!
Дни распродажи богатств Аляски,
Годы отъезда в родной Израиль.

Склоны, поросшие можжевельником.
Связки колбас с холестерином.

Ваше величество, можно вольно? —
Мнится Улиссу голос сирены.

Гордые линии: Темза, Рига.
Стены из кладки энциклопедий.
Щурится знаний хват-мастерюга,
А сам косолапит с ленцой медведя.

Фалды подбросив, он сел к пианино.
Вот вам аккорды, толпа, нахалы!
Где ты, красотушка бабка Арина?
Дай я прочту тебе стих сначала!

Воронцофф думает о Славе.

Предмет ужасный, зело страшный.
Игрец нахальный иль герой
Фольклорных буйств. Он тянет клешни
И разрушает жизни строй.

Олада присоединяется к нему.

Водопровода ток хрустальный
Пусть ржавчиною прорастет,
Но не допустим шуток сальных,
Похожих на дрянной ростбёф!

Какаша уже не верит в существование Горелика,
считает его фантомом.

Прощай, прощай, Горелик Славка!
Ты просто вымысла фантом.
Хоть помню я твои уловки,
Лимоны крутят все вверх дном.

Фэймос страдает от старческой сексуальности.

В ночных мечтах я Казанова,
Но сладости сии горчат.
То нимфу трахаю лиловую,
То жму корову сгоряча.

Какаша вспоминает, как она была нимфой.

Жила я на воротах Нарвских,
Парила среди балтийских вод.
И осеняла финнов варварских
Лучами счастья и невзгод.

Фэймос верит в жизнь.

Иные скажут: мир ужасен,
Но он красотами влеком.
Ползет в нем уж, пылает ясьень,
В груди у женщин молоко!

И демонстрирует свое русское превосходство.

Посредь людей американских
Не можно сделать конфесьон.
Повсюду эти их глянцы,
Российский дух не посвящен.

Горелик предлагает ему исповедаться.

Хоть я не пастор православный,
Всего лишь жизни скоморох,
Спокойно доверяйте Славе
Рассказ о ваших комарах.

Фэймос готовится к исповеди.

Ну, приготовьтесь, мистер Менделл,
Принять признания души,
Что изогнулась, словно модуль,
Страдая, как сплошной ушиб.

И страдает по красавице.

Я имени ее не знаю,
Хотя я отдал бы свой банк
За чистый звук, как имя Зоя
Иль Глория де Шарабан!

Вспоминает ее песню.

Тебя я помню, Слово-Слово,
Твой сладкий груз, плечей размах,
Твою античную головку,
Мечту троянских Андромех.

В ответ на вопрос Горелика он высказывает свои предположения.

Небось ухапкали красу
В тот тминный бор, что на востоке,
Где стайки пестрых карасей
Напоминают о Вудстоке.

И в конце концов приходит к выводу:

Любой мужчина настоящий
Всегда мечтает уволочь.

И образ весь, и малый прыщик
Влекут его, как волчья ночь.

Мамм просит его уволить.

Ночное солнце на закате
Уходит в гости в никуда.
Пусть унесет меня мой катер
Туда, где радуги дуга.

Фэймос сетует на свой возраст.

Померкли все мои надежды,
Мой возраст, гадкий, как угар,
Не спрячешь в пышные одежды,
Не выльешь в марочный кагор.

**Горелик пронзительным голосом поет призывную
песню.**

Если кликну я,
Отзовешься ли ты?
Выпьем ли «Клико»
Или в грязь полетим?..

Твой образ был, как небо голубое
В простых мечтах еврейского ковбоя...

Голос Какаши отвечает издалека.

Есть на свете островок Елагин,
И гребная база есть на нем.
Приходи, мой бешеный стилига,
Мы на зыбком скифе погребем!

И вдруг замолчала, как будто ей рот заткнули.

Фэймос выгоняет Мамма.

Пора лукавства миновала.
Сократ, будь ты моим цека!
Уединюсь на сеновале
С бокалом пламенных цикут.

Какаша прокликает свое прекрасное тело.

Пускай избыток шоколада
Течет к сладене-шаху, ну,
Бараний бок уже обглодан —
Теперь он требует шахну.
Позвольте, где же упование
Любви, надежды нежный смех?
Дрочишь в забытой Богом ванне
И гладишь собственный свой мех.

Репортеры потрясены исчезновением Какаши.

Какие кадры, елки-палки!
Она летела, как газель!
В восторге будут даже волки
Российских фирменных газет!

Фэймос на светском приеме знакомит Горелика с гостями.

О друг наш Менделл,
Славный Бенни,
Позволь тебе представить здесь
Прекрасную, как торт миндальный,
Чету Нащокиных. Он князь.

Горелик расшаркивается перед четой Нардов.

Нардин-Нащокин,
Боже правый,
Не верю я своим ушам!
Сей звук звучит, как артишоки,
Как пальмы грива
В роце славы,
Как к пиву чудо-черемша!

Фэймос со слезой поет о традициях русских американцев.

Сыны традиций этих старых,
Не пожалели мы костей,
Меняя ментики гусаров
На парашютных войск костюм.

В те дни воздушная пехота
Под гордым стягом Stars & Stripes *
Не пожалела б и енота,
Когда б он в дырку пулемета
Вдувал кощунственную страсть.

Вьетнам! Как много в этом звуке
Ловил боец и гражданин,
Стреляя из родной базуки,
Не стал от страха он заикой,
А умер средь родных ржанин!

Горелик под гитару поет балладу «Девушка из метро».

* Звезды и полосы (намек на американский флаг) (англ.).

Итак, она звалась Какашей.
Впервые именем таким,
Чудным любому кашалоту,
Мы героиню наградим.

Узри ее в воротах Нарвских,
Среди колонн мелькнет она.
Так тешил на тюремных нарах
Себя греховный сатана,

С толпой лихих волчиц соблазна
Там, на закате эсэсэсэр,
Она, «систему» всю облазив,
Грустит печалью, dear Sir.

Мне хочется живого, девы,
Хочу на остров ярких глаз,
Чтоб из воды, а также с неба
Звезда сверлила, как игла.

Что привело тебя, Какаша,
В клуб гребли и других утех?
Там милый мой живет алкашник,
Там ждет меня страстей кутеж...

Воронцовф и Олада вызывают Горелика на дуэль.
Олада восклицает:

Прощай, душевная услада.
Решенье найдено — дуэль!
Все мифы к черту в ад услали,
Миф пропадает. Целься в цель!

(Вытирает слезы.)

Какаша предпочитает верить своей интуиции.

Хочу я верить интуиции,
А не столпам слепых скрижалей!
Пускай китаец чтит Конфуция,
Славянку цепи не сдержали!

Я верю в воздух Древней Греции.
Ахилл в аттической дубраве
Меня заждался. Я в проекции,
Я словно глаз в лесной оправе.

Фэймос призывает ее прильнуть к нему.

Я знал, что ты вернешься, девство!
Европа, свет мне свой прольешь!
К усталому в бессмертье Зевсу
Спиною нежною прильнешь!

Три дуэлянта перед дуэлью распивают бутылку на троих.

Горелик обращается к соловью.

Теперь пропой нам, жизни соловей,
То, что ты пел в сиреневом пролете,
Ведь «Жириновский» в нашей голове
Все посильней, чем мистика у Гёте!

Танцы останавливаются перед прибытием Настоящего Бенни Менделла. Все поворачиваются к горе, по которой тот спускается.

Фэймос

Того, другого, больше нет,
Но настоящий прибыл к ночи,

Могуч, как древний большевик,
И, как священник, непорочен!

Софи

Как он несется! Не пылит!
Сверкают кубики и ромбы!
Техничен, как Жан-Клод Килли,
Непредсказуем, словно Томба!

Мими

Теперь я вижу, это демон,
Перед которым ниц пади!
Он не мужчина и не дама,
Он супермен и господин!

Нард

Он пресечет дурные толки,
Дурное слово пресечет.
Проверит памяти шкатулки,
Введет моральный пересчет!

Лиди

О настоящий Бенни Менделл.
Мой брат, ты жизни режиссер!
Надеюсь, припасешь ты крендель
Для страстных рыженьких сестер?

Мамм

Готов работать при обмене,
В законном браке результат
Предъявлен будет брату Бенни
В законный срок и без затрат.

Какаша

Простите, Библия и Тора.
Прости, мой Бенни, стажа нет!
Я выпала из партитуры
И не вписалась я в сюжет.

Репортеры

Здесь назревает, без сомненья,
Сюрприз для этих горемык:
Как плод классического семени,
Немешая из сцен немых.

Настоящий Бенни Менделл формирует немую сцену. Один лишь Слава Горелик покидает сцену со словами:

Таков итог страстей, потех,
Излишеств скромных карнавала.
Утих тревожный треск шутих,
Все стерто мира жерновами.

Довольно шляться за звездой,
Вдыхать предательства токсины.
Сюда я больше не ездук.
Такси! Подайте мне такси!

В романе «Кесарево свечение» много всяких всячин; есть там внутри и малый роман «Кукушкины острова». Герой всего романа Старый Сочинитель Стас Аполлиналиевич Ваксина совершает путешествие в малый роман, где он встречается с другом молодости, поэтом Яном Петрушайло. Последний дарит ему свой сборник «Странствия соловья». Открыв наугад книгу, СС читает стих:

То штиль царит литья стального,
То сонмы бурь.
Три ноты есть, все остальное —
Сплошной сумбур.

Вокруг бурлит «Фестиваль островов российских».
Приехавший из Парижа русский барон Фамю (донель-
зя похожий на банкира Фэймоса) читает свой экс-
промт:

Так с чувством, с толком, с расстановкой
Провозглашаю: мой народ!
Без задних мыслей, без рисовки
К тебе приехал старый бард!

От грибоедовских поместий
И от подножья Tour D'Eiffel
К тебе, *bien sur*, он строил мостик,
Любимец дев и трюфелей

Большой знаток. Дворян замашки
Народ оценит в старике.
Виагра верная в кармашке
И русский рэ-вольвер в руке!

Что касается нашей расчудесной бродяжки Кака-
ши, то она с гитарой дает концерт своих собствен-
ных сочинений, то есть выступает на этот раз как
бардесса.

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ

Святош трехглавый, рафинадный
Осенней охрою полег,

А дальше — в кружеве фанданго
Кукушкинский архипелаг.

Как заселился изначально
Сей недвусмысленный Эдем?
Кто набросал сюда исчадий
Неполноценных генных схем?

Кто вы, адепты живодерства,
Бальдек, Гамедо, Хуразу?
Кто ваши глиняные торсы
Воздвиг в дремучую грозу?

Какие странные несходства,
Пейзаж прекрасен, воздух чист,
Но темный дух тут правит сходку,
Злодейской мести зреет час.

Что побудило адмирала
Сюда направить свой фрегат?
Удастся ль нам, не умирая,
Забыть про эти берега?

ВТОРАЯ ПЕСНЯ

— Стас Аполлинариевич, это для вас!

Кесарево сечение!
Гибнет бесстрашный царь.
Заговор худосочия
Обогатил алтарь.

Плоти гниль, плодородие.
Звук неземных кифар.

Ниточка наша бродит
В том, что зовем мы эфир.

Нить золотого сечения,
Ноль-шесть, девяносто пять,
Режет средоточение,
Тянется вверх и вспять.

Плавится воск и олово.
Во избежанье клише
Не говорит ни слова
Царственный акушер.

ТРЕТЬЯ ПЕСНЯ

— Мадам Мими, это вам!

По палубе гуляет дева,
Она читает «Рошамбо».
Атлантика тиха на диво,
Струится нежно аш-два-о.

Да-да, Гаврила, о да-да, мой друг Гаврила! О да!

Не знает дева огорчений,
Ни прыщиков и ни морщин.
Свежа, как с Лесбоса гречанка,
Она не ведала мужчин.

Нет-нет, Гаврила, о нет-нет, мой хитрый друг Гаврила!
О нет!

А между тем на верхнем деке
Богатой сволочи Олимп

Выписывает деве чеки,
Их собирает Вовка-пимп.

О нет, о да, не верь, Гаврила, тебя запутать не хочу.
Нет-нет, да-да, мой друг Гаврила, я хохочу!

ЧЕТВЕРТАЯ ПЕСНЯ

Вздывают жезлы атаманы,
Горой взбухают одеяла,
Орлицей кычет нимфоманка
В любовных играх без финала.

Гвардейцев племенная рота
Потешить пах императрицы
Готова. Сладкие аборты
Лейб-акушер привез из Ниццы.

Она рыдает, как пастушка,
Запас грудей трепещет бурно.
В чем юности моей проступок?
Где прелести моей котурны?

ПЯТАЯ ПЕСНЯ

Мой братец во грехе, Ха-Ха, мой нежный брат,
Прими грехи стиха, все с рифмами хромыми,
Ночной той гребли плот у нас не отобрать,
Все мнится Ланселот Франческе да Римини.

Ха-Ха, ты был свиреп, ты хавал свой прогресс,
Но все ж ты был Ха-Ха, ты сеял массу фана!

Ты рывкаешь, как вепрь, но куришь сладкий грасс,
Прости, что для стиха я ботаю на фене.
Ха-Ха, ты петь горазд и бедрами вертеть,
Тебе не чужд маразм во имя человека.
Ты пестрый балаган, но ты же и вертеп,
Где Коба жил, пахан, гиена Ха-Ха-века.

Волшебник Ха-Ха-век, ты вырастил кино.
Марлон скакнул, как волк, мой призрак черно-белый.
Спускаю паруса и в твой вхожу каньон,
А в нем моя краса — Марина-Анна-Белла.

Постой, повремени, не уходи, наш век,
Пока мы подшофе сидим вокруг салата,
Покуда над меню не подниму я век,
Чтоб увидеть в кафе живого Ланселота.

Всего в нашем большом романе фигурируют три пьесы. Они прерывают развитие сюжета, однако способствуют его развитию в роли кислородных пауз и перезарядки аккумуляторов, то есть тому, что в теории ОПОЯЗа называется «остранением» и «замедлением».

Действие второй пьесы «Аврора Горелика» происходит жарким вечером в центре Лиссабона, в кафе «А Лембранса», куда Славка Горелик приносит мешок с 12 миллиардами баксов.

Параллельно с основным действием в кафе происходит встреча «ультралевых элементов». Время от времени революционеры встают и поют свой гимн.

Проходят века и века,
Но поступью тысячелетий
Дивизия тянет быка
На сгибах рабочих предплечий!

Река, как всегда, глубока,
Но в небе сияет нам глетчер!

Чтоб жизнь наша сделалась краше,
Дивизия крепнет на марше!
Во имя высокой мечты
Втыкай вдохновляющий штык!

Пред нами поля и луга,
И сине-зеленое море,
И тактики наш ураган,
И вихри мятежных теорий,
И бык наш вздымает рога,
И шапка пылает на воре!

Чтоб жизнь наша сделалась краше,
Дивизия крепнет на марше!
Во имя высокой мечты
Втыкай вдохновляющий штык!

Два наемных бойца зачитывают свои монологи.

МОНОЛОГ КЛЕНСИ ФАУСТА

У молодого парня всегда должна быть альтернатива. Я, например, альтернативщик. В тюрьме я не засиживаюсь, всегда ищу альтернативу крытке, то есть простор. Если я белый, я все-таки имею право чувствовать себя как негр. Замкнуто? Вот вопрос социального неравенства, о котором нам уши прожужжали в ячейках. Какого черта? Равенство не дает альтернативы. Если я беден, имею право быть богатым. Если я богат, просираю все до нитки. Вопрос замкнут?

Альтернатива, товарищи, движет революцию. Если я голоден, нажрись обязательно! Ежедневное питание с горячими щами, с макаронами по-флотски, с крутыми битками, с компотом, как в лучшие дни ВМС, однако почему-то всегда тянет нажраться вредной водки. Прешь к хорошей бабе в самоволку, а жаждешь какую-то самку волка. Замкнуто? Все это, однако, не означает, что не выполняю приказов командования или призывов партии. Однако альтернатива всегда остается — где? вот здесь, в задней части башки, то есть в ленинском затылке. Замкнуто? Размыкаю. Я на задании.

МОНОЛОГ ЛОРЕНЦО МГБЕКИ

(произносится с нарастающей злостью)

Стартоментош, эристинари бранто валиста крепиораш! Кросто фужара жалионари? Фронт накатония юриопрудеш! Стерриоваза хулихунари! Пронто потензия фило морфозош? Нулло! Брожженио фило мерккаро са! Феррокаттория птероиглица кусси? Просесто пленариуц виссиорутта! Аберто энсерадош хорарио фехада! Куанто музео абрэ а конвенто! Эмпуррар эмпрего, эмпрего эскова! О порко апре апортаге? Прима а кунта! А габардина! А хора де понта! Идаде о джого а жувентюдаш? Ассинатура о бенгальеро калькас паладо калькулядора а демораш! Ну во дирейтус эффишио эмбрула? Энгаррофоменто а факка хердада фаз фавор эмпрешсионанте! О, лаватория хойе фургао гратиш? Бластро эксклементио инферно жаражжо! Инферно! Инферно! Инферно и бластро! Аржанио сильвирорастиш пур раггиомаггиш?! О блура! Блура! Аффиксьяментош! Стирральтош! Корродиш! О брэйя! Треппеттуареш ум паррофьюзош! На фиг!

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ГИМНА, ХОР МАСС

Идут молодые бойцы,
Мужчины и женщины вместе!
Для них от излучин Янцзы
Гремят вдохновенно оркестры!
Младенцы идут и отцы
Под флагом горящим и пестрым!

Чтоб жизнь наша делалась краше,
Дивизия крепнет на марше!
Во имя высокой мечты
Втыкай вдохновляющий штык!

Для них хорошеет Париж
В преддверье большого захвата!
Геройский их дух воспарит!
Стройнее шагайте, ребята!
И видится им среди крыш
Лицо мусульманского брата!

Чтоб жизнь наша сделалась краше,
Дивизия крепнет на марше!
Во имя высокой мечты
Втыкай вдохновляющий штык!

Большой роман «Кесарево свечение» в общем-то посвящен XX веку. Уходит наше время, наши романы и стихи, наша манера размещать и произносить слова. Десятая часть опуса — это элегия века, в ней 34 стиха.

ВЕСНА В КОНЦЕ ВЕКА

Дневник сочинителя

Холодная весна. Ликующий щенок.
Щегол поет в кустах, как скрипка Страдивари.
Свистим и мы свой блюз, не раздувая щек,
Лишь для самих себя, Армстронга староверы.

Кончается наш век. Как дальний джамбо-джет,
Он прибывает в порт, свистя четверкой сопел.
Что загрустил, народ? Иль кончилась уже
Дерзейшая из всех двухиксовых утопий?

Печаль ползет, как смог, в комфортные дома.
Осталась только дробь, потрачены все восемь.
Исчерпан Голливуд, Чайковский и Дюма.
Ну а щенки визжат от счастья первых весен.

* * *

Весна. Вирджиния. Колючками шурша,
Бесстыжий лес осин затеивает вальсы.
Поверит ли пропащая душа,
Что можно жить без музыки Вивальди?

Зеленый грузовик рассады приволок,
А ветер гнул кусты в предательстве раскосом.
Заснувший в темноте под свист небесных склок,
Поселок поутру украсился нарциссом.

Как короток твой век, нарцисс-самовлюблен!
Слетает лепесток в апофеозе бури.
Успеешь ли сказать о чувстве, воспален?
О гибели сказать уже не хватит дури.

К и н о Х Х

Стенли Кубрик усоп,
Завершилась его Одиссея.
Полегли паруса,
Призрак Трои осел одесную.

Остается лишь Рим,
Говорил в Цедээле Феллини.
Опрокинул свой ром
И добавил: кончайте филонить!

Я хочу поглядеть,
Что скрывается под паранджою,
Где царица, где блядь,
Хохотал, уходя, Параджанов.

В детстве голод, война,
Полкило почерневшей морковки.
В чем твой подвиг, Иван,
Вопрошал свое время Тарковский.

Оборвав якоря,
Этот мир, как киношка, померкнет.
В дюнах Фаро, среди коряг
Важно бродит оставшийся Бергман.

Жимолости жженье
Слышишь и видишь сбоку.
Запахи возрожденья
Водят твою собаку.

Этой весной несмелой
Громы идут с Балкана.

В небе, промытом с мылом,
Словно штандарт над полками,

Тянется облако НАТО.
О, генеральское сердце,
Ты ли читаешь там ноты
Бешеного концерта?

Точность бомбометанья
Зависит от близости тучи.
Косовских баб метанья
В гайдучьей хватке паучьей

Ставят вопрос философский
О сущности человека.
Так со времен Софокла
Ты морщишь усталое веко.

Под оркестр

Тянутся косовары
Лентою за кордон.
Флейточка крысолова,
Адский аккордеон,

Сербской стрельбы перкаши,
НАТО гремящая медь.
Где вы, райские кущи?
Выведи, Магомед!

Март предпоследнего года.
Боже, Владыка Небес,
Дай нам плохую погоду,
Маются ВВС.

Март предпоследнего года
Век упустить не горазд.
Так развлекаются гады,
Рыская в мокрых горах.

* * *

В те дни, когда на поле Косова
Сошлись опять три мрачных царства,
Вооруженные колоссы,
Титаны мощи и коварства,

Он все трусил вокруг и около
Цветущих вишен, гиацинтов,
И отдаленной битвы рокоты
Терялись в радуге и стыни.

Статистика боев

На фоне зарева Белграда
Сообщить командованью рад,
Что тени длинные Эль-Греко
Проходят ночью сквозь Белград.

Дома горят, убитых мало.
Число избранников судьбы
Сошло до минимума в залу,
Где ждут подсчета, как столбы.

По Косово гайдук гуляет.
Ничто не сдержит гайдука,
Лишь пляшут цели над углями
В прицеле верного АК.

Дома горят, убитых много,
Но максимум еще далек.

Дружины Гога и Магога
Раздуют славный уголек!

Албанка, жертва геноцида,
Прольет невинную слезу,
Но кто, чернее антрацита,
Торит позорную стезю?

Гайдук, нажратый водки с салом,
АВАКС с командой «Гоу-ахэд»
Или укрытый под вокзалом
Голубоглазый муджахед?

И з - з а т у ч

Он подлетает, Чарли Bravo!
Над ним, как мать, летит АВАКС.
Сквозь тучи виден берег рваный
И деревень дремучий воск.

Вот он взмывает по спирали,
Уходит свечкою в зенит.
Искус воздушного пирата,
Как саранча, вокруг звенит.

Он целит в красных злые танки,
В посланников белградских бонз,
Но попадает не в подонков —
В албанцев, страждущих обоз.

П е р в о м а й - 9 9

По Горькой улице — что слаще? —
Нести вождя зловещий облик,

Как в дни, когда народ палачил,
А вместо денег брали воблой.

Трубит трубач в свою полуду
Мотив космического марша.
Сын стукача, привыкший к блуду,
Нацизм внедряет в букву Маркса.

Вернулись старые повадки.
«Всех богачей низринем ниц мы!»
Как алкоголик жаждет водки,
Россия тянется к коммунизму.

Н а ц б о л

В предместье тихого Денвера,
Забыв про прежний вшивый шик,
Живет на пенсии велфера
Национальный большевик.

Утратив киевскую мову
И не запомнив сотни слов
Английского, он внемлет зовам
Лесных пичуг и воплям сов.

Но по ночам в кустах иврита
Грозят Астарта и Ваал,
В словесный бой сквозь желчь иприта
России катит мутный вал.

С т ё б

Новое поколение, скажем о нем особо,
В химической липкой лени взрастило культуру стёба.

Молодость отдана стёбу, как медицине Живаго.
Критик, корова-зебу, смотрит поверх жеванья.

Дугин корит Совенко за атлантизма пороки.
В рифме стоят советской лагерные бараки.

Вспомним мы папу-начлага, дух неплохой эпохи.
Братья, Анпилов, Анчалов, где ваши шашки, папахи?

Хлеба запасы иссякли, нет в магазинах лимонов,
Пиво вернулось в сааки — вот чего хочет Лимонов.

Хочет он взять Манхэттен, старую квартиру,
Даму в клубке мохера сделать звездой ОВИРа.

Негров поднять восстанье против условий тяжких.
Крутоголовые, встаньте! Сшить себе джинс в обтяжку.

Б ы л и н н о е

Опять палит по прежней цели команда думских хитрачей,
а неуклюжий батька Ельцин в Кремле пугает сонм сычей.
Не лучший Муромец поднялся спасти народ средь
мутных вод.
Как все, дитя блажной подлянки, один из красных воевод.

Не часто «солнце Александра» здесь через тучи
просквозит
среди событий календарных российской пакостной
возни.
Измучен Ельцин, как в обкоме: ни в отпуск умотать
на Крит,
ни обратиться в синий камень, ни опуститься в древний
крипт.

Н о с т а л ь г и я

Как Ниццы гость, как Сочи житель,
Вблизи пенящихся борозд
Проходит старый сочинитель
В кожанке «классик-бомбовоз».

Вздыхает старый сочинитель,
Он вспоминает свой дебют,
Варшаву, огоньки, Сочельник,
Журнальной критики дебош.

Над атлантическим курортом
Летит патрульный пеликан.
Солдат болотистые роты
Идут под гулкий геликон.

Недаром отвечает болью
Воспоминаний балаган:
Ушедших лиц, пожалуй, больше,
Чем этот бравый батальон.

Ч у ж а к

Бродит Стас Ваксино, забуревший классик.
В мире нет вакансий для таких колоссов.

За окном халява, потная тусовка,
У дверей легавый, блядь в своей спецовке.

Гангстер комсомольский, паразит гэбэшный,
Лапы в страшных кольцах, камушки-орешки.

Патриоты ражие, либерал — замызган.
Общество куражится в позах модернизма.

Родина! Старушки! Бабушки и тети!
Стас, ты здесь нерусский, неавторитетен.

Перу Дальгорду

Копенгаген. Издательство «Гюльдендаль».
Направляюсь за авансом по следам Кьеркегора.
Все здесь мило душе: позолота, эмаль,
По которым порою грущу, словно грек по простору.

Есть соблазн поселиться среди малого языка,
Средь аптекарей и ювелиров усатых,
Отказаться от выгод татарского ясака,
Шепелявого, с треском коры, говорка бесноватых.

Получив гонорар, на канал выходил Кьеркегор.
Он телесную немощь свою весьма гордо наследовал.
Заходил в кабачок, сам себе бормотал под кагор:
«Бомба, чу, взорвалась, и пожарище следует».

Королевство датчан, социально-задумчивый рай.
Выют грачи вдоль Ютландии вечные гнезда.
Если скажут народу сему: «Свой удел выбирай!» —
Он нашьет на свои пиджаки те же желтые звезды.

О ней мечтал он наяву
Со школьной парты.
Глазища круглые совы
У Клеопатры.

Вставай, взлтай к нам из глубин,
Яви нам грезу!
Просил в просторах голубых
Плывущий Цезарь.

Гони змею, молил школяр,
Беги из ванны!
Но слышны скрипы корабля
Октавиана.

Весь смысл змеи, как ни моли,
В укусе спрятан.
Об этом знают муравьи
И кесарята.

Изиды вечная звезда
Горит над школой.
Гудят в округе поезда
Трубой Эола.

Город мудрецов

В сумерках снег освещает усы и плащи,
Два охотника-хищника вместе идут, Ортега и Гассет.
В ягдташе у них заяц несчастный предсмертно пищит.
Бог приходит на помощь к нему и предсмертие гасит.

Освещает дома отражением снега каток.
Дети свищут вокруг, отвязав притяжения грузик.
Вместе с ними скользит городской полицейский Платон,
Да откалывают фортеля
Школьные учителя
Даррида и Маркузе.

В кабачке запашок — описать не могу!
Приготовлен для вечера вкусный соус.
Обещал усладить нас бразильским рагу
Кулинар по фамилии Леви-Страус.

Аквavit принесут, и духовно мы с ним воспарим.
Под зайчатину с перцем воспарим мы телесно.
Старый Кант запоеет ни о чем, словно в доме Пурим,
И запляшут вокруг огонька молодые кантэссы.

М и ф и б ы л ь

Телесный ствол, сказал Бердяев,
Ты не отринешь поспеша:
Ведь среди жил его бордовых
В нем вояжирует душа.

Творя загадку без отгадки,
Она ушла из мифа в быль,
Ест с нами пудинг кисло-сладкий,
И шашлыка кошмарец плотский,
И в сале сваренные клецки
И валится в автомобиль.

Поэт и рыцарь, строгий Данте
Спустился в прорву, не дыша,
И встретил плоти мастодонтов,
В которых страждала душа.

Спасутся все, сказал Спаситель.
Но кто ответит за немых,
Преступных, не прошедших сито,
Оставшихся для вечных мук?

И з р о м а н а « О ж о г »

Оттепель, март, шестьдесят третий.
Сборище гадов за стенкой Кремля.
Там, где гуляли опричников плети,
Ныне хрущевские речи гремят.

Всех в порошок! Распалется боров.
Мы вам устроим второй Будапешт!
В хрюканье, в визге заходится свора
Русских избранников, подлых невежд.

Вот мы выходим: четыре Андрея,
Пятеро Васек, бредем из Кремля.
Видим: несется дружина, дурья,
С дикими криками: «Взять ее, бля!»

Сворой загнали беглицу-цыганку.
Грязь по колено. Машины гудят.
Ржут прототипы подонков цековских
С партбилетами на грудях.

Сезон 67-го

Мой Крым, плебейские гнездовья!
Шкафы, чуланы — все внаём,
Но по ночам пророчат совы,
Что приближается самум.

Иду от Маши, даль светлеет.
Гора — как Феникс над золой.
Там в складке каменной алеет
Шиповника розарий злой.

Скалы прибрежной дикий камень
Набычился, как царь-бизон.
Вдруг пролетело скрипок пламя,
Как будто выдохнул Бизе.

С утра мещанство варит яйца,
Но возникает — смел, усат —

В потоке бурных вариаций
Неисправимый Сарасат!

Т о л с т о й

Витают сонмы произволов
Над поприщем угарных войн.
На бал в поместье Радзивиллов
Плывет блистательный конвой.

Спешит Сперанский обустроить
Гуманнейший абсолютизм.
Плывут полки, за роем рои,
Как будто в бездну мы летим.

Елена выпьет яд кураре,
Щепнет: мон шер, прости, спешу.
Отрезанной ноге Курагин
Промолвит: больше не спляшу.

Василий-князь повяжет галстук
И вдруг поймет: для светских врак
Один лишь дурачок остался
Да новая звезда на фрак.

.....
Терзает пневмония старца,
В бреду он видит строк развал.
Хаджи-Мурат, герой татарский, —
Его последний произвол.

« Б р о д я ч а я с о б а к а »

Серебряный поток, обилие луны.
Печаль всегда светла. Уныния агентам

Тут протрубят «О нет!», как в Африке слоны
Трубят, зайдя по грудь в живительный аргентум.

Из всех собак одну облюбывал народ,
Поэт и журналист, комедиантов племя.
Пускай жандарм ворчит: «Уродливый нарост»,
Ведь не ему вздуть сценическое пламя.

Надменный трубадур, сюда явился Блок.
Глаза его пусты. Он думает о Данте.
Пришла пора плясать для карнавальных блох,
Лишь мимолетный жест вы этим блохам дайте.

Гварнери и тампан заплещут в унисон,
Площадку очертит ночного неба калька,
И пушкинским ногтем потрогает висок
Корнет, чья боль в виске — вакхическая Ольга.

Х у д о ж н и к и - к а р т е ж н и к и

Кубы электросвета сквозь веток мешковину
Трамвай проносит с грохотом на Сретенский бульвар,
А в поднебесье хохоты, там в студии Машкова
Художники собрались для еженощных свар.

Бубновые валеты, трэфовые семерки
Всей банде полагалось бы — промеж лопаток туз!
«А все же Кончаловский, Лентулов и Осмеркин
Еще не вылезали из маминых рейтуз!
Еще не поднимали борцовской гири груз!

У них одна мамаша, толстуха Академия,
А нам бы расплеваться навеки с ней и вдрызг!

Мы зачаты, ребята, одним священным семенем,
Нас всех вскормила млеками волчица или рысь!»

Так Ларионов буйствует. «Мы молодые гении!
Вперед Наташку выпустим, и нас не разгромят!»
А на бульварной лавочке их взлетам и агониям
В усишки ухмыляется марксистский эмигрант.

Р е в о л ю

Военный коммунизм. Донашиваем фраки.
Цилиндры все сданы на балаган,
В котором футурист рифмует агитвраки,
Но не рифмуется Дзержинского наган.

Кронштадт устал от красной камарильи.
«Начнем, братва, вот-вот растает лед!»
Но прут по льду карательные рыла,
Чей аргумент — носатый пулемет.

В те дни на Лиговке мочалилась мочалка,
Брахоловка, спасенье диких дней.
Ахматова, краса, аттическая челка,
Распродавала там паёк своих сельдей.

«Она меняет спецпаек на мыло, —
Докладывал аграновский злодей. —
Товарищ комиссар, ей мыло мило.
Начнет с селедок, так и до идей

Дойдет она, монахиня-харлотка,
Как тот, кого надьсь мы на валу
Кончали, помните, он драл все глотку...»
Зевнет Агранов: «C'est une revolu...»

С о с е д и

Два Владимыча Владима жили по соседству.
Оба были нелюдимы, начиная с детства.

У обоих чин дворянский украшал гербарий,
Прибавляя тесту пряность; словом, были баре.

Повзрослев, влюбились оба в британские ботинки,
В мягкий твид, усладу сноба, в венских стульев спинки.

Оба что-то сочиняли в полунощных бденьях.
Слов волшебных сочлененья приносили деньги.

Вот один сачком хватает бабок в ярких платьях
И под лупой совершает нежные распятья.

А второй, он был не кроток, хмурил морды лепку.
Слишком часто палец крутит русскую рулетку.

Несмотря на бездну сходства, пролетели мимо
Жертвы раннего сиротства, юноши Владимы.

Встретившись в аду, в раю ли, в чистке ль на вокзале,
Спросят под «Напареули»: чем вы увлекались?

Магистральная баллада

В 1921 году на обратном пути из Пятигорска
Хлебникова посадили в вагон эпилептиков.
Отщелкав последних семечек горстку,
Футурист погрузился в своего эпоса летопись.
Его знаменитая наволочка была при нем.
Три вши, как всегда, ползли по ней.
Засунув ее под затылок в естественный проем,

Он стал клониться к дремоте пользительной.
В наволочке среди мягких клочков один выпирал,
Кусок обоев из разбитого особняка.
Слыша ухом его, Хлебников воспарял
К запредельным высотам обойного языка.
Или убойного ясака?
Или убитого казака?
Или убогого кизяка?

Эпилептики молча сидели в купе,
Восемь адских филоновских синих лиц.
На поэта смотрели, как смотрит в купель
Налетевшая стайка свинцовых синиц.
Этот друг, произносит один, говорят, председатель
Человечьего шара земного со всеми ресурсами,
То есть зверь посильней в обстановке предательства,
Чем главком Ворошил и командующий корпусом.
Пусть дает нам сто тыщ полноценным рублем,
Говорит из больных очевиднейший олух,
А иначе его, зуб даю, порублю.
Подкормить существо по прозвищу Молох.
В Тихорецкой потащили его по платформе.
Председателя в лужу, хорошая будет уха!
Так шутили больные. Голосуй, обеспечивай форум!
А давай-ка запустим ему под крышу красного петуха!

Подходил бронепоезд правительства
«Красный Октябрь».
На горящих людей в эти минуты внимания не обращали.
Хлебников дергался осетром, из-под жабр
Керосинчик горячий потек, заполняя все щели.
«В некоторых условиях классовой борьбы
Анархия масс может быть полезна», —
Троцкий строго смотрел на бурленье вокзальной гурьбы.
Сталин тут же кивнул подхалимски: «Железно!»

Публика прет, словно коров отпустили на выгон,
Зенки вылупила, от преданности посинев:
Троцкий и Сталин в салон-вагоне
Фотографией на грязной стене!

К этой стене направлялась колонна,
Предназначенная на расстрел.
Губы белых кривились: пролетарская клоунада!
Пусть убивают, один предел!
Вдруг один завопил в историческом мареве,
В мешанине гудков, «варшавянок» и стука копыт:
«Посмотрите, ведь там футуриста поджаривают!
Помогите, спасите, ведь не все вы скоты!»

Восемь эпилептиков испужались
И в припадках спасительных стали дрожать.
Велимир был спасен, вызывая большущую женскую
жалость,
И побрел свой маршрут до Санталово продолжать.

Спецсостав покатил мимо этой фигуры,
Пулеметы и пушки, бронированные углы.
Троцкий, встав на предписанные историей котурны,
Произнес: «Жаль, что Хлебникова до конца не сожгли.
Он вошел бы в историю как жертва стихии.
Как трибун он был неучем, как поэт неплох».
Сталин тут же добавил, под усами хихикая:
«Наших социалистических эпох».
Троцкий смотрел свысока на заката пожарище,
Думал: как сделать, чтобы высшие нравы у нас
развивались?
Во избежание морали этого закавказского товарища
Мы должны повсеместно внедрять фрейдовский
психоанализ.

«Для бочки дегтя не хватит меда, нет больше флангов
у авангарда.
Мы собираемся в пирамиду, но рассыпаемся, как
в бильярде».

«Смотрите, Миша, прелестный пёсик! Ах, не забыть:
сегодня пленум!
Вопрос решающий для концессий там обсуждают.
Привет Елене!»

Ты помнишь, товарищ?

Гражданская война, веселые дела.
За что воюешь ты, повстанец Самородов?
За то, чтобы братки взлетали, как Дедал,
Чтоб каждому братку сады Семирамиды!

С наганом на бедре и в шляпе belle époque
Он гнал баржу в Дербент, агитстихи звенели.
Есть сладкий порошок, но нет, увы, сапог.
Давай мне пулемет, отправимся в Энзели.

Тридцатые года. Распухшая щека.
Смердит Осовьяхим под гульфиком кумира.
Пора уже туда, где не найдет чека
Ни наших трубок дым, ни грезы Велимира.

Скучнейший большевизм. Наш карнавал иссяк.
За что ты воевал, повстанец малахольный?
За то, чтоб пошляки жевали свой кусок,
За индекс валовой, за пытки Мейерхольду?

Лес молодой листвы,
Пристанищ голубиных,

Прародина лисы,
Продольные глубины.

Нырнуть в себя зовет,
Клубясь, зеленый хлопок.
Приветствуя совят,
Там пролетает хупу.

Несется бурундук,
Философ-буратино.
Столетье — ерунда!
В мгновенье все причины.

Могучий тихий стон
Над лесом возникает.
Проходит авион
На Даллас из Китая.

М а л ю т к и

Господь сидел, держа ошую
Малюток-ангелов состав.
Малютки, не крутите шеи!
Сказал он им, слегка привстав.

Сегодня вас держу ошую
Из всех бесчисленных князей,
Чтобы сказать: вас воплощаю
Я в человеческих друзей.

Ступайте к людям и смиряйте
Их неожиданный недуг.
Пусть станут все самаритяне,
Кто белорус, а кто индус.

И ангелы, забыв скрижали,
К Земле помчались с высоты,
Затявкали и завизжали,
И закрутились их хвосты.

С ю ж е т

Студентка стройная, с ослиным личиком —
Воспоминания на диво живы —
С двумя упругими под майкой мячиками
Звалась на кампусе Лоло Бриджидой.

Походка лодочкой, а жест кошаческий,
А кудри черные, как волны ваксы.
Пока вы в сессиях своих ищачите,
Она скрывается в ночи Фэрфакса.

Ему за сорок, профессор лирики,
Атлет и сноб, женатый трижды.
Устав от чтения Рембо и Рильке,
Все чаще думает о снах Бриджиды.

Супруга мрачная, как Салтычиха,
Подозревает плейбоя в страсти
И обвиняет всю школу чохом
Как ненавистный источник стресса.

Лоло хохочет. Хохочет нервно.
И обращается к Казимиру:
Забудь про глупую супруге верность
Во имя прихоти, во имя моря!

Не в силах вынести таких уколов,
Он на квадратике парусины
Рисует пламенный треугольник
И исчезает в своей России.

В о р ж и

Хвалу заморской медицине
Поют усталые уста.
Она вам даст гормон бесценный,
Ввинтит титановый сустав.

Успехи нашей медицины —
Цивилизации ядро.
Оливковые херувимы
Над брэнной мистикой мудрят.

Быть может, путь от праха к духу
Осуществляет весь наш род,
Сквозь биогниль туда, где сухо
И где цветет души наряд.

Ну а пока гудим в чем дали,
Неимоверная братва,
В своих телесных причиндалах
Во ржи, поблизости, у рва.

Р э р о

Вот бродячие грузины
Из ансамбля «Рэро».
Родина им пригрозила
Пытками, расстрелом.

Что за пытки? Рог бараний
С золотой виною.
Виноградник Гурджаани
Полнится войною.

Что за казни, Мнемозина?
Блюдо с потрохами.

Для расстрела две корзины
С грецкими грехами.

Wild Turkey*

Как эпизод картин Ван Дейка,
Как призрак из забытых царств,
Слетает дикая индейка,
И в небе царствует Моцарт.

Она гуляет по газону,
Что так пленительно упруг,
И принимает круассаны
Из грешных человеческих рук.

Забыв про День благодаренья,
Когда счастливый пилигрим
Жрал индюшатину с вареньем,
Она курлычет филигрань.

Как дама важного эскорта,
Она несет букет лица.
Так иногда приносят куры
Подобья райского яйца.

Но если кто-то возалкает
Ее на блюде, сбоку ямс,
Она мгновенно улетает
В край недоступных Фудзиям.

За этим вроде бы завершением следуют еще четыре
части. Одиннадцатая посвящена Пикассо.

* Дикая индейка (англ.).

ПЕГАС ПИКАССО

Отчего мне все-таки хочется написать что-то о Пикассо, то есть придумать что-то о нем? Вернее, прочувствовать всю эту пикассонию — всеми десятью пальцами по всем пикассам? Потому, быть может, что всякий, даже мимо-летний, взгляд на него сродни мощному подъему коня Пегаса? Может быть, от того, что долгое всматривание в него, прогулка вдоль него с увеличительным стеклом в глазу сродни полной перезарядке твоего словесного аккумулятора? Вплоть до того, что к концу галереи появляется прежняя упругость в дряхлеющем заду.

Пиша и завершая этот «большой роман», я часто ловил себя на том, что как бы прогуливаюсь вдоль галереи Пикассо, ибо он принадлежит к первой дюжине вдохновителей прошедшего века, а быть может, и возглавляет ее. Быть может, и век-то начался за пару десятилетий до своего хронологического начала, когда в Малаге созрел и явился в мир кислорода увесистый плод пикассийского дерева. Это был срок крутого демиургического замеса по всему миру; не обошел он стороной даже и обделенные солнцем плоскости и мокрые склоны российской земли. Возник последний аккорд Ренессанса, великая художественная утопия.

Заменив одно слово, я вспоминаю недавно усопшего друга: «Кесарический роман сочинял я понемногу, продвигаясь сквозь туман от пролога*к эпилогу», хотя где тут у меня прологи, где эпилоги, быть может, и сам дух Прозрачный не разберет. Тем не менее время от времени делаю какие-то не очень вразумительные наброски о Пикассо.

Отъезд юнца из Барселоны
Благословила вся родня.
Вязаний красных и зеленых,
Орехов сладких и соленых,

Советов мудрых, глаз влюбленных
Поток не иссякал три дня.
Возьми с собой мешочек песо,
Припрячь его в родной тюфяк
И береги свой юный пенис,
Когда в отменнейших туфлях
И в новой шляпе по Монмартру
Один отправишься гулять:
Там дамочки в разгаре марта
Тебе покоя не сулят.

* * *

Сеньор Пикассо — сын отваги.
Его планида высока.
Одним косым ударом шпаги
Он нарисует вам быка.
Не будет клянчить он поблажки
У галерей в Картье Латэн.
Дрожат кощунственные ляжки,
И свечи гаснут в синих плошках,
Бесчинствуют на крышах кошки,
В углу мерцает сна латунь.

* * *

Господь дарует свойство зрения.
Природа создает глаза.
Мычит Пикассо: это разное.
Увидеть ошупью алмаз
Дано ли? Вижу заалмазие.
В за-зреньи живопись совьём
И без зазренья свойства плазмы
Мы свойством духа назовем,
Как называем виноградники
Мы чутким словом Совиньон.

Появляется Татлин.

Beethoven was deaf. Could one paint being a blind?
Sometimes he dreams, he doesn't need eyes to make
painting.

Once a former sailor, lanky and blond,
Knocked his door and broke in panting*.

Is this ulitza, he roared, or la rue, or der strasse?
Is this Picáссо, or Picassó?
Hi there, my fellow, I'm a Russian!
Sorry, mon maitre, for this nightly assault!**

И наконец завершающая 14-я часть романа, пьеса «Ах, Артур Шопенгауэр». 2060 год. Славке Горелику сто лет, Наташе-Какаше девяносто три. Они часто ругаются, часто совокупаются, иногда поют для себя и для своих клонов.

Ах, Артур Шопенгауэр!
Ах, Артур Шопенгауэр!
Ты нам задал урок,
Ты нам задал урок.
Прямо в рот нам вложил,
Словно глупеньким фраерам,
Состраданья урюк,
Состраданья урюк.

-
- * Бетховен был глух. А может художник быть слепым?
Когда он порой мечтает, ему не нужны глаза, чтобы создавать картину.
Однажды бывший моряк, долговязый и белокурый,
Стукнулся в дверь и ворвался, тяжело дыша.
- ** Это улица, рычал он, или рю, или штрассе?
Это Пикассо или Пикассó?
Привет, мой друг, я русский!
Прости, учитель, за ночной налет (англ.).

Волю к жизни забудь,
Говорил Шопенгауэр.
В пеликаньем зобу
Рыбе хочется жить.
Черепахи ползут
По яичкам гагарьиным,
По следам ягуарьиным.
Никуда не зовут,
Никуда не зовут.

Состраданье одно
Наделяет нас качеством
Неких высших существ,
Человеческих душ.
С состраданием на дно
Упадем и проплачемся,
Продеремся сквозь шерсть
Генетических шуб.

Ах, Артур Шопенгауэр,
Ах, Артур Шопенгауэр!

* * *

Ветер принес издалёка
Прежней весны уголек,
Вторил там Сашеньке Блоку
Тысячелетний Блок.

Розы, кресты, эвкалипты
Вырастут тут на снегу.
Встретим же Апокалипсис
Стаей гусят на лугу!

Ровно, темно и глубоко
Дрогнули струны мои,

Ветер принес издалека
Дюжину старых «Аи»...

Ровно, темно и глубóко,
Можно сказать, глубокó...
Ветер принес издалека
Дюжину нежных «Клико»...

Ровно, темно и глубóко,
Милый наш брат Александр,
Ветер принес издалека
Ящик крепленных «Массандр»...

* * *

Игры моей апофеоз,
Твое лицо меж лунных фаз!
Павлиний хвост
В руках горит, и жарко тает воск
Прошедших лет и промелькнувших фраз.

* * *

Скажи мне, племя молодое
И незнакомое, увы,
Кто вы — утопии модели
Или исчадия совы?

«Где мой град, где мой трон, где заветный сундук...»

Там, в зеленом вихре воды,
Две проживали балды,
Стуча в тугой барабан.
Там, где пальмы тянутся вверх,
Где набухает орех,
Где пучит глаз океан,
Там в пещере
Два офицера,
Два Гулливера,
Все курят сладкий дурман.

Эту песню под ритм гваделупского оркестра поет диким и прекрасным голосом шевалье Мишель Террано (он же Миша Земсков) во время праздника Мардигра (Масленица) в Париже 1764 года. Так открывается стихотворная коллекция романа «ВОЛЬТЕРЬЯНЦЫ И ВОЛЬТЕРЬЯНКИ». *Подсказка:* Всякий может пропеть эти стишки на мотив фокстрота «Гольфстрим».

Праздник продолжается. Лихая племянница Вольтера мадам Дени голосит фривольную песенку.

Ах, тетушка моя была плутовка!
Огонь горел на дне ея очей!
Она любила гладить по головкам
Усатых и мохнатых трубачей!

Начинается череда так называемых «вольтеровских войн». В одной из них Миша получает удар по башке, после чего переносится в русское Средневековье, дабы сыграть роль богатыря Чурилы Пленкóвича.

Эй, Чурило Пленкóвич, расейский ерой,
Скачет ночью, не видноть ни зги!
А поганое ыдло выжжит под горой
Вместе с падлой блажной мелюзги.

Где мой град, где мой трон, где заветный сундук,
Где мой пруд, полон сладких лящей?
Каковую припас мне злодейку-судьбу
Обожравшийся мясом Кащей?

Дай огня мне, сестра! Дай стрелу мне, любовь!
Конь-поскок, над бядой проскочи!
Блажь идет пять веков, сшибка бешеных лбов.
Разлетайтесь, блажные сычи!

ПЕРЕВОДЫ СТИХОВ И ЭКСПРОМТОВ МЭТРА АРУЭТА ДЕ ВОЛЬТЕРА

Пчела

Польза пчелы всем известна,
Любят Ее, не менее все же бояцца!
Смертным к добру Она лестна:
Мед всех питает,

Воск освещает
Праздник паяца.
Что за избыточный дар: нам восхищаца
Ночью на пьядцах
Делом Ея, коему мысль не помеха.
О, Ты, Минерва, к земле благосклонна богиня,
Грубых невежд осажай же задорами смеха!
Маслина, Ею сажденна, битвам не быть указала.
О, гений!
В споре красот одари Ее щедро
Яблоком алым сказочной силы,
Кем бы ты ни был, Парисом ли юным и добрым
Или Ахиллом.

Любовь втроем

Воспеть твою красу, Сюзан,
Поет гобой.
Любой кюре, забыв свой сан,
Помчится за тобой.
О тот блажной любовный сон!
Мы в нем сошли с ума!
Царица сна, весна Сюзан,
Лефевр и Франсуа!
Мы позабыли вздор забот,
Подсчеты в кошельках.
Весь мир наживы был забыт,
И лишь один мы знали быт —
Втроем в твоих шелках.

ГРУСТЬ ВОЛЬТЕРА

Вольтер несколько минут молчал. Слеза катилась по его щеке, спотыкаясь в напудренных морщинах. Потом продолжил:

«Сюзанна вышла замуж за богатого маркиза де Гувёрне и отказалась принять меня, когда я посетил ее дом. Я утешал себя стихами: «Тот изумруд, что так вам люб, / И яхонты, мадам, / Не стоят шевеленья губ, / Что вы дарили нам!»

ЭПИТР УРАНИИ

Прекрасная Урания, ты жаждешь
Будить во мне Лукреция, чтоб я
Согражданам моим подъял бы вежды,
Громил бы лживость, страстию объят.

Меня ты ободряешь, ангел милый,
По-философски встретить мрака рать,
С усмешкой к краю подойти могилы
И ужас новой жизни презирать.

ЛИССАБОН

О, жалкое пристанище, бедствующая земля!
Страшная почва смертного человечества!
Где ты, хозяин всех страждущих,
И те мудрецы, что талдычат «все хорошо»?
Придите поразмыслить на оскаленных руинах,
Увидите клочки и пепел нашей расы,
Груды детей и женщин, сцепившихся в общей погибели,
И члены, коих уже не опознать.
Десятки тысяч земля, не моргнув, пожрала
И кровоточащих оставила умирать,
С мольбою о помощи завершать
Их плачевные дни в круговороте зла.

И в этой зловещей агонии на равнодушной
планете
Над пеплом, и дымом, и над языками огня
Вы произносите мудрость о вечных законах,
О том, что Бог не отделяет свободных и добрых
От массы жертв, и подведете итоги:
«Бог отомщен их смертями за первородный
проступок»?

ЭПИГРАММА НА КРИТИКА

Змея одна куси Фрерона
И сдохла тут же от евона.

ПРИПЕВКИ НА БАЛУ

Вольтер вращался в центре, словно солнце со своим хо-
роводом планет. Подняв ладони ко рту, он трубил:

Крутись, о жизни колесо,
Как сказал Жан-Жак Руссо!

Прокрутившись весь круг, трубил уже следующую
припевку:

Пошли всем счастья ведро,
Так просил Дени Дидро!

Еще круг — и следующая припевка:

Всем восхищения без мер
Провозглашает Д'Аламбер!

Хоровод отвечает:

Веди, вершитель вышних сфер,
Наш электрический Вольтер.

СТИХИ ПРУССКОГО КОРОЛЯ ФРИДРИХА ВЕЛИКОГО

Все люди — братья, кроме тех, кто сестры,
Однако есть, увы, особый нежный вкус
В двоюродной толпе, сем машкераде пестром,
Где всякий шут готовит свой фокус.

* * *

Где ты, вселенная Ньютона,
Скрываешь свой священный смысл?
Пошто созвездий многотонных
Не знаем мы природных числ?

Нам дан весьма солидный разум,
Но почему нам невдомек,
Что кроется в красотах розы
И в таинствах священных мекк?

О человек, червяк прелестный,
Чему ты куришь фимиам?
Пошто, слагая стих и песни,
Не можешь ты сразить L'INFAME?

Дерзает вдохновенно молодь,
Но не проник до черных дыр
Ни сумрачный германский желудь,
Ни галльский острый мухомор.

Балы, концерты, котильоны,
Войны кровавый карнавал...
Ты вопрошаешь воспаленно:
Что тянет жизни караван?

В чем наших дней угар и пафос?
Пошто Ньютон лежит в гробу?
Не спрашивай! Поймешь сей фокус
И тут же вылетишь в трубу!

СТИХ БАРОНА ФОН-ФИГИНА, СОЧИНЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ

В этой пещере, что мы именуем нашей землей,
Вдруг возникают прорывы в небесные сферы.
В эти моменты душою и телом я млею,
Сопровствляюсь тому, что именуется мглой,
Хоть и приходится дань заплатить королю
Люциферу.

СТИХ УНТЕРОВ МАРФУШИНА И УПРЯМЦЕВА, СОЧИНЕННЫЙ И ПРОПЕТЫЙ В РАЗГАРЕ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ

В честь блистательного нашего мэтра Вольтера
Импровизируем мы песнь вакханальных дубрав.
Пусть наши глотки звучат, как в оркестре валторны,
Старца красу воспоем, лицемерье поправ!

**ПОМОРСКАЯ ПЕСЕНКА, ПРОПЕТАЯ
ГОСУДАРЫНЕЙ И ДВУМЯ ЕЯ КОНФИДАНТКАМИ
НА БОРТУ ЛИНЕЙНОГО КОРАБЛЯ
«НЕ ТРОНЬ МЕНЯ!»**

Ой, как двинул Ломонос свою шляпу проворную,
Всеми молодцами его просмоленную,
На восток, к лону мать-земли!
Ой, да как грянул песню вздорную-зазорную,
Так и завистью надулись иноземцев все корабли...
Ой, тюрли-тюрли-тюрли!
К лону мать-земли!
Ой, тюрлян, тюрлян, тюрлян!
Через море-окиян!

**ЧЕТВЕРОСТИШИЯ ВОЛЬТЕРА ИЗ ЕГО ПИСЕМ
ГОСУДАРЫНЕ**

...Хвалю сей знатный мех
Российской Мать-Царицы!
Над Мустафою смех
Пусть громом разразится!

...На табакерке вижу знак
Руки прилежной и прекрасной,
В черты ея вперяю зрак,
В сии черты Авроры ясной!

...Когда б я был из удальцов
С великолепными усами,
Я вместо тысячи гонцов
Сам поскакал бы в царство снов,
Но я всего лишь филозоф
И потому леплюсь устами.

...Гром пушек, кораблей услада,
Пусть Византии скажут сказ.

Пусть воссияет над Элладой
Екатерининский «Наказ»!

**ПЕСНЯ СТАРОГО БАРИНА МИХАЙЛЫ ЗЕМСКОГО,
ОБРАЩЕННАЯ К «ЧЕРТЕНЯТАМ ВОЛЬТЕРА»**

Бродил не раз я в здешних плавнях,
Таща тяжелое ружье,
Но вот впервые в послеглавии
Тебя узрел я, Энфузьё.

Как мимолетности блажные
Вдруг в текстах возникают встык,
Так в наши области ржаные
Вдруг проникает Суффикс Встрк.

И, чу, танцует балаганчик:
Кружат меж слов без панталон
Чва-Но, надменный богдыханчик,
И плутоватый Гуттален.

А мусульманин Эль-Фуэтл
Поет, как сорок соловьев,
И на отменнейшей из метел
К нему летит Мадам Флёфьё.

Чертовский рой, кружа меж строчек,
Пошто смущаешь старый слог,
Тревожишь сон рязанской ночи
И нарушаешь эпилог?

Кто все это придумал мудро?
Ответьте, прошлым вас молю!
Блеснет ли свет, придет ли утро?
Мелькнет ли Ангелок Алю?

«Главная баба — это Москва. Пьяные нянчит ГЛЮКИ...»

Вскоре после того, как я выпустил «Вольтерьянцев» и получил за них премию «Русский Букер», я начал потихоньку писать что-то большое под условным названием «Тамарисковый парк». Написав несколько дюжин страниц и не добравшись до главного героя, я вышел из этого файла и открыл другой. И там вдруг с невероятным азартом начал возникать роман о людях, которые в 1952 году стали заселять одну из сталинских высоток. За восемь месяцев энергичной работы сложился роман, а в конце возникло и название — «МОСКВА-КВА-КВА».

Один из главных героев этой книги Кирилл Смельчаков — фронтовик, герой, борец за мир и агент спецназа ГРУ, телефонный друг Иосифа Виссарионовича, член Союза писателей, семижды лауреат, а главное — поэт, живущий в своем рифмованном мире.

Вот с какими стихами он выходит на эстрады за рубежами СССР.

ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ

Товарищи, сидящие в этом зале,
как Маяковский, обращаюсь я
к вашему костяку.
Встаньте в наш всемирный полк,
где командиром
Сталин,
чтобы прибыло здравого смысла
человеческому
косяку!

Вот что он пишет, вспоминая войну.

ВЫСАДКА В КЕРЧИ

Боспорский царь, проснешься ль ты
От наших пушек?
Восстань среди кладов золотых!
Целы ли уши?

Враг пер, как ошалевший зверь,
На катакомбы,
Мы брали Керчь,
Спускались в смерть,
А юнкерсы на нашу твердь
Валили бомбы.

Где черпал древний Митридат
Истоки веры?
Мы верили в свой автомат,
В порывы штурмовых команд
И пили за своих солдат,
За наших рухнувших ребят
Трофейный вермут.

НАДЕЖДА ПАРАШЮТИСТА

Нырлет «Дуглас», как дельфин,
Ревет проклятья.
Закрыв глаза, я вижу фильм:
Твои объятья.

Готовьсь! Душа, обожжена,
В успех не верит.
Но ты летишь со мной, жена,
В пустые двери.

В единоборстве с сатаной
Кичиться — глупо!
Но ты раскроешь надо мной
Надежды купол.

В послевоенные годы он пишет стихи о своих любовных приключениях, или, если угодно, прегрешениях.

ИЗ ЦИКЛА «ДНЕВНИК МОЕГО ДРУГА»

Мой друг спешил на мотоцикле...
Река, безлюдье, парапет...
И вдруг увидел юной цапли
Замысловатый пируэт.

О, юность, нежность, липок почки,
Хор лягушачьих батарей!
Девчонка пляшет в одиночку,
Поет при свете фонарей.

Он заглушил мотор стосильный
И подошел к ней не спеша,

Мужчина, странник в куртке стильной,
Типаж спортсмена и спеца.

Надюша, цапля, примадонна,
Что приключилось в поздний час?
Запомни номер телефона,
Как он запомнил свет в очах.

.....
Прошло пять лет. Он в город вышел
Купить «Дукат». И вдруг застрял:
Ее увидел на афише
Над кассами в концертный зал.

* * *

Кристина Горская,
Артистка гордая,
Шкурка из норки,
Грива волос,
Попка — две горки,
Но где же хвост?

* * *

Прощальный вальс,
Конец страстей тигриных,
В глазах у вас
Одни хвосты и гривы.

* * *

Когда-то дрались на Судетах,
Врага громили в пух и прах,
И вдруг московская студентка
К нему пришла в ночных мечтах.

В ночном просторе над Европой
Шли тучи, словно сонм овец,
В мечтах, приправленных сиропом,
Он шел с подругой под венец.

Словно бродяга с ранцем,
Полуживой идиот,
Жду я свою Эсперанцу;
Придет или не придет? —

И снова Испания...

Ты извертелся на перине.
Кузнецкий спит, гудит пурга,
Ну почему ты не отринешь
Кастилию и Арагон?
Звучит «Фанданго» Боккерини.

Заснуть! Но не смыкаешь вежды.
Забуть! Но даже через транс
Она идет, Звезда-Надежда.
Иль по-французски Эсперанс?
Увы, тебя не сдержат вожжи.

Однажды во время выступления в МГУ, ободренный аплодисментами, он вынимает из кармана затасканную записную книжку и читает то, что он никогда даже не решался предложить в печать.

БАЛЛАДА ТЕЗЕЯ

Свершив немало известных деяний
И много больше темных злодейств,
В одном из неброских своих одеяний
Прибыл на Крит боец Тезей.

Бредет он, на метр выше толпы поголовья,
Своей неведомой никому стезей,

А Миносу во дворце уж стучат людоловы,
Что в городе бродит боец Тезей.

Сюжет в мифологии не зароешь,
Спрятав версию или две.
Не так-то легко пребывать в героях,
С богами будучи в тесном родстве.

Потом он возлег в пищевой палатке,
Зажаренного запросил полбычка,
Вина из Фалерно для высохшей глотки
И кости, дабы сыграть в очко.

Царю в тот же час доложат сыскные,
Хорош он с плебеями или плох,
В какой манере он ест съестное
И часто ли приподнимает полог.

Царь посылает дочь Ариадну:
«Проси знаменитость прибыть во дворец.
Не тешь себя любопытством праздным
И не трещи, дочь моя, как залетный скворец».

Она на подходе понять сумела —
Царская дочь была неглупа, —
Что сердце герою дарует смело
И шерсти овечьей отдаст клубок.

Царская дочь, то есть почти богиня,
В шаткой палатке герою сдалась тотчас.
Шептала: «Ты меня не покинешь?»
И вишнями губ ласкала железный торс.

«Все люди проходят свои лабиринты,
И каждого ждет свой Минотавр,

Но знай, Тезей, на краю горизонта
Пряду я нить из небесных отар.

Если пойдешь ты на Минотавра
И вступишь в запутанный, затхлый мрак,
Держи эту нить и увидишь завтра,
Что царству теней ты не заплатишь оброк.

Теперь отправляйся к престолу Крита,
А я тебе фимиам воскурю.
Эола тут прилетит карета,
И ты свою тайну откроешь царю».

Темные мраморы, мерная поступь.
Стража сзади смыкает штыки.
Сколько храбрость свою ни пестуй,
Жила дергается на щеке.

И вот он предстал перед тронем Кносса,
Где чудищ скопилось не меньше ста,
И Пасифая, узрев колосса,
Вдруг разлепила свои уста:

«Я знаю, что ты негодяй прожженный,
Но если избавишь нас от Быка,
Куб золота дам и дочь в жены.
Женись и от подвигов отдыхай».

Он отправляется дальше к цели
Спасать афинян, что достались Быку,
Один, словно клещ, вползающий в щели,
Лишь только меч висит на боку.

Вокруг кишат вульгарные твари,
Ищет растления пьянь.

Дико рычит в унисон с Минотавром
Буйная, посеидоновская, океань.

Для пересечения площади пускаюсь в бег.
Ариадны горячий клубок под моим плащом.
Удаляется в сторону вольный брег,
Приближается свод лабиринта, под кирпичом.

Толпа завывает, трусливо гоня.
Опускаюсь, куда послали, во мрак.
Больше никто уже не зажжет огня.
Кремня и кресала даже не дали впрок.

Стопа Тезея не знает ступеней,
Не посвящен он и в таинства букв,
Однако он слышит безбрежное пенье
И налетающий грохот подков.

В лабиринте герой теряет глаза.
Нужно видеть кожей, идти на слух.
Ну а если появится прошлого полоса,
Отгоняй эти краски, как знойных мух.

В этом мраке есть житель, он черноту коптит.
Ты не увидишь, как он опускает рога.
Ты только услышишь грохот его копыт
И, не успев помолиться, превратишься в рагу.

Но даже если ты от него уйдешь,
Если прянешь в сторону со щитом,
Если в шейную жилу вонзишь ему нож,
Не найти тебе выхода в светлый дом.

Чу, услышал он, нарастает рев,
Убивающий волю шум,

Сатанинский бессмысленный бычий гнев,
Словно персы идут на штурм.

Я обрываю здесь свой рассказ —
К счастью, не обрывается нить —
В надежде, что ноги смочу росой
И увижу твою финифть.

Влюбившись в «парящую деву социализма», свою соседку по восемнадцатому этажу, первокурсницу и сталинскую стипендиатку Глику Новотканную, он обращает к ней поток своих стихов.

Где ты, послушница Гликерия?
Иль непослушница уже?
Тиха ль твоя светлица-келья
На недоступном этаже?

Ночные звуки Первомая
Тревожат девы робкий сон.
Что мучит, сон превозмогая:
Лягушка, чайка или сом?

Поёшь ли ты девичьим голосом
На русских пажитях ржаных,
Как мчит в Японию над полюсом
Твой вечный пьяница-жених?

Что вытесняет эти образы?
Твой светлый Александр Блок?
Страны твоей немые борозды?
Иль в темноте стоящий бык?

Цветы поставим в чудо-вазу.
Моя прелестная коза,

И там начнем иную фазу,
Как вождь народов указал.

Ах, девушка моя родная,
Под звуки красного числа
Ты шла, сияя и рыдая,
Портретик Сталина несла.

.....
Главная баба — это Москва.
Пьяные нянчит глюки.
Помнишь индейское слово «скво»? —
Спросит шальная Глика.

По периферии этой любовной истории бродит, как
Пьеро, девятнадцатилетний джазмен и стилиста Так Таков-
ский. Он пытается привлечь Глику своими экспромтами.

ЭКСПРОМТЫ ТАКА ТАКОВСКОГО

Глика Новотканная,
Девка окаянная;
Демон тела, ангел лика,
Сногшибательная Глика!

Товарищи, мне нравится
Одна комсомолка!
Ее фигура —
Сплошной изумруд!
На губах у нее
Насмешки колкие,
Ну а в мыслях
Любовь и труд!

На этом слегка шутовском фоне разыгрывается тра-
гедия сталинизма.

«Все для тебя несложно, покуда ты солдат!»

«Москва-ква-ква» понравилась публике, но не всей. Далеко не всей. Критика, например, ошетибилась. Совковая короста, увы, выросла в сознании многих: они по-прежнему лелеют «социалистическое прошлое»; правление Брежнева, например, называют «золотой застой».

Итак, я вернулся к отложенному «Тамарисковому парку», но по мере работы осознал, что я завершаю довольно странную трилогию. В семидесятые годы я написал две детских приключенческих книги о пионере, «который хорошо учился в школе и не растерялся в сложных обстоятельствах» — «МОЙ ДЕДУШКА — ПАМЯТНИК» и «СУНДУЧОК, В КОТОРОМ ЧТО-ТО СТУЧИТ».

Между прочим, в этих сочинениях тоже есть кое-какие стихи. Корабельный кот Пуша Шуткин, например, поет свои куплеты:

В любом порту живет нахал,
Которому за дело
Маэстро Шуткин раздирал
Полморды и полтела.

В Бордо бесхвостый обормот
Оклеветал нас жутко,
Сказав, что благородный кот
Всего лишь раб желудка.
Но моряки — прямой народ.
В душе моей открытой
Они читают: Шуткин-кот
Не любит паразитов.
Не так важна коту еда,
Пусть даже голод гложет,
Мужская дружба мне всегда
Значительно дороже.
А вы, Геннадий-новичок,
Поверив гнусным слухам,
Не удосужились разок
Пощекотать за ухом.
Я презираю бешбармак
И жирную селедку,
Зато ценю как дружбы знак
Заушную щекотку...

* * *

Иные любят гладь да тишь,
Подушки, одеяла,
Предпочитаю гребни крыш,
Сырую мглу подвалов.

Мурлан мурлычет день-деньской,
Хозяйке лижет локти,
А я за дымовой трубой
Натачиваю когти.

Но для друзей моя душа —
Всегда одна красивость,
Ведь дружба так же хороша,
Как честь и справедливость.

Курлы мурлы олеонон,
Фурчалло бракателло,
Дирлон кафнутто и ниссон,
Журжалло свиристелло...

Маэстро Шуткин никогда
Не трогал человека,
Но сей мерзавец, господа,
Духовная калека!
Подонок белобрысый
Достоин быть лишь крысой!

В приморском баре выступает авантюристка Буба.

Я — авантюристка Буба!
Рост, лицо, фигура, зубы
Выше всех похвал!
Токио, Нью-Йорк и Дели,
Восемь стран за две недели!
Риск — мой идеал!
Бокс, дзюдо, борьба карате,
Электроды, химикаты,
Акваланги, кинжал!
Фунты, доллары и йены,
Ловкость барса, нюх гиены —
Все мне дьявол дал!
Я могла бы быть артисткой,
Кулинаром, журналисткой,
Но шпионкой-аферисткой,
Хищницей-авантюристкой
Мир меня назвал!

Там же горланят подвыпившие наемные солдаты.

Пока на белом свете
Деньжатами разит,
Солдат в лихом берете
Всегда обут и сыт.
Все для тебя несложно,
Покуда ты — солдат!
Твой нож не дремлет в ножнах,
Кулак твой волосат!
А принципы надежно
В швейцарском банке спят!

А принципы надежно
В швейцарском банке спят!

А в старом издании книжки «Сундучок, в котором что-то стучит» вы найдете письмо допотопного Йона своим сыновьям Мису, Маку и Тефя.

В первой книге нашему герою двенадцать лет, во второй ему исполняется тринадцать, а вот в третьей так получается, что ему, или его прототипу, исполняется сорок три, и он сидит в тюрьме. Из этого следует, что третья книга написана не для детей.

«Прощай, наследственность метафор, сравнимая с блаженным сном»

Как и в некоторых других моих недавних книгах, в «РЕДКИХ ЗЕМЛЯХ» есть фигура автора-персонажа; на этот раз его зовут Базиль Окселотл. В первом отрывке вы увидите, как проза превращается в стихи.

Итак, я бегу на юг с пляжа Басков, потом, как все джоггеры, пересекаю закрытую в связи с возможным камнепадом зону, потом продолжаю через пляж Марбелла к пляжу Миледи и далее к пляжу Илбарриц и только здесь поворачиваю назад. Вся эта дистанция идет по твердому песку или по мелководью, возрастное тело мое вдыхает бриз, слышится ровный рокот океана, и в этом рокоте я начинаю проборматывать какие-то стишки. Поймав себя на этом не очень-то пристойном для старого сочинителя прозы деле, я понимаю, что по-настоящему вступаю в «романную фазу». Любопытно, что вне этой фазы мне никогда не приходит в голову сочинить какое-нибудь стихотворение. Жажда расставить слова в ритмическом порядке, да еще и скрепить этот порядок рифмами, возникает только в прозаическом процессе. В каком-то смысле это напоминает подзарядку творчес-

ких аккумуляторов, а то обстоятельство, что это часто происходит во время бега, только подкрепляет метафору. Где-то я читал, что бег трусцой способствует выработке в организме неких деятельных веществ, именуемых «кинины». Ну что ж, кинины, давайте искать рифму на слово «тамариск».

И вновь — аллеи тамариска,
Бискайский мир, мильон примет!
Хожу, таскаю том Бориса
И как предмет секу предмет.

Гремящий мир гульбы и риска
Все жаждет склоны простирнуть,
Где над уродством тамариска
Цветет зеленый пастернак

Иль там укроп. Деталь кубизма,
Пересечение плоскостей,
А волны прут, самоубийцы,
Акрилом пачкая постель.

Вглядитесь в дупла тамариска,
В уродства ссохшейся коры,
Увидите черты арийца
И черные рога коров.

Где-то по соседству с Окселотлом происходят съемки фильма по его роману. Героиню Татьяну Лунину играет актриса Татьяна Лунина.

Он стар, но молодо пьянеет.
Вокруг восторг и похабель,
А на отрогах Пиренеев
Вновь вырастает Коктебель.

Попробуй скрыться от изъяна
Туда, где книга, как стена.
Увидишь: Лунина Татьяна
В романе том плечом титана
От грешных дел защищена.

В кармане пиджака звучит бравурная гамма мобильного. Это, конечно, она, Танька Лунина.

Старый сочинитель живет один в маленьком доме с садом в 600 метрах от Океана. Добрую часть своего рабочего времени он бродит по комнатам в поисках разных предметов быта.

День за днем я ходил по своим комнатам и искал очки. Проклятые вещи то и дело пропадают. Сколько раз я убеждался в том, что нельзя их искать и без толку тратить на поиски уйму времени. Когда захотят, тогда и выскочат на поверхность, сделав вид, что они тут всегда лежали.

Вещи — такие сволочи,
Прячутся по квартире,
Скалятся, гады, по-волчьи
Над хозяином с его артритом.

Исчезают щетки для волос, беговые туфли, диски, на которые грузишь свои «бэкапы», пульты для телевизора и для плееров, летом шорты, зимой шерстяные штаны, визитные карточки нужных персон, книжка «Речевые формулы французского языка», баскетбольный мяч, черт знает что еще, солнечные очки-лупоглазы...

Затаилась где-то отвертка,
Мобильник, блин, будто врос в кирпич,

А ведь лежал под пропавшей журнальной версткой;
Звонят как будто бы из Керчи.

Ходишь полдня по своим небольшим комнатам, взъеряешься от тщеты. Дом взъеряется на тебя, за спиной у тебя — а иногда и прямо перед носом — стучат, хлопают все двадцать три двери — кто, кто построил этот дом с таким количеством дверей, неужели тихонькая мадам Лафон, у которой этот дом и был куплен, неужели она сама была сторонницей сквозняков как окончательных аргументов в спорах с муженьком, когда по дому одна за другой с яростью захлопываются все двадцать три двери?

Иногда мне кажется, что дом злится не столько на меня, сколько на попрятавшиеся вещи. Перетряхивая стены и двери, дом как бы подключается к поискам. Трах-тарах, из двух кухонных дверей вылетают ручки, сами по себе куда-то к эвонноэввве закатываются, сотрясается холодильник, ты бросаешься к нему, чтобы проверить, не разбилась ли крынка с молоком, — нет, ничего не разбилось, больше того — в прохладной полости тебя поджидает приятный сюрприз: в пространстве между упаковкой «Стеллы Артуа» и коробкой сардин внезапно обнаруживается то, что давно уже бросил искать, ну тот самый, что изредка подавал какие-то слабенькие сигнальчики как будто бы из Керчи, ну в общем мобильный блядский телефон. Какой приходит тут восторг, как преображается мир! Из провонявших всяким вздором абсурдностей вдруг выходит некий мир-друг, ободряет тебя хлопком по плечу: давай открывай баночку «Стеллы» и звони какой-нибудь совсем забытой, совсем состарившейся Стелле Артюхиной в Керчь, выходи на террасу, шлепайся в шезлонг, затевай долгую беседу с воспоминаниями. Керчь, Керчь, не началась ли там у вас война, мадам? По-прежнему ли хлопает в набережную ваш лишь капельку заму-

соренный прибор? Мадам Керчь, а вы по-прежнему вспоминаете о ваших жарких ночах, о грезах с примесью большевистской идеологии? Ах, как приятно найти потерявшийся телефон-портابل!

Иногда мне кажется, что мои предметы недвижимости противоборствуют предметам подвижности в их постоянных стремлениях спрятаться, разбрестись, причинить злость хозяину. Ну вот опять же, те же злокозненные очки-goggles: потеряны месяц назад, казалось бы безвозвратно, однако ты их все же как-то подсознательно ищешь, бросаешь то туда, то сюда полубессознательные взглядики — а вдруг вот сейчас обнаружатся, сверкнут на солнце, пропищат на манер телефончика какой-нибудь знакомый мотивчик?

Магнолия не хочет, чтобы ты так без конца маялся. Ей дорого твоё достоинство. Именно поэтому она заманивает в свои ветви двух сорок. Присаживайтесь, госпожи воровки, на мои великолепные ветви! Суетные щеголихи, разумеется, не отказываются от приглашения, и именно в этот момент магнолия приглашает появившегося хозяина заглянуть глубоко в её щедрую макушку. Проходит ещё один миг, и птицы с ворованным предметом хозяйского обихода, то есть с очками-лупоглазами, взмывают в поднебесье. Хотите верить, хотите нет, несут их вдвоем, каждая за свою дужку. Растворяются в океанском закате.

О, твари подлые, сороки!
О, клептоманик уазо!
Пусть заклеят вас эти строки
Замысловатостью резьбы!

Главными героями романа являются бывшие комсомольцы, которые играли активную роль в самороспуске их почтенной организации. Сейчас они возглавляют огромную корпорацию по розыскам, добы-

че, обработке и сбыту редкоземельных элементов. Отсюда и возникает новое название романа — «Редкие земли».

Вот как эти еще молодые люди отмечают очередной коммерческий успех.

Принесли несколько бутылок в ведерках со льдом. Ясношвили внимательно проверил, как поднимаются бокалы. За ножку, ребята, только за ножку! За нижнюю часть ножки! Устроим звон! Пьем за звон! Вообще, пьем за шампанское! Мой дядя самых честных правил / По имени Багратион / Все вина называл отравой, / А пил один «Дон Периньон»!

После второго бокала Ашка сняла со стены гитару и стала подыгрывать шутовским экспромтам Гурама. Сверкая улыбками и глазками, постоянно роняя челку и отбрасывая ее назад, она делала вид, что заигрывает с пришельцем. Ген тоже не отставал от этой самодеятельности. Нам каждый гость дарован Богом, / Гонец весны иль вестник зим, / И даже в рубище убогом / Алаверды тебе, Максим!

После чего они поют:

И шум, и треск, и снег пуржит
Под вой норд-оста.
Коммунизм сокрушить
Не так-то просто!

В сердцевине романа происходит массовый исход заключенных из московской тюрьмы «Фортеция». Алекс Корбах играет на гитаре и поет.

Бредут толпою персонажи
На долгий, но неправый суд.

Их ждут допросов пассатижи
И очных ставок жуть и суть.

Прощай, наследственность метафор,
Сравнимая с блаженным сном.
Прощай, последний дом Метрополь,
Где жил гурман и гастроном,

Чудило грешное Фофановф,
Безгрешное мудило дней,
Кентавр, Геракл и монстр фонтанов,
Ты арестован и блядей

Не привлечешь для показаний
И не смягчишь толпы укор:
Присяжные сидят козлами,
И их свидетель — прокурор.

Он выступает споро, бойко,
Из кодексов своих речет.
Таков юрист. Казак с нагайкой.
Он правду хилую сечет.

Сокамерник Велосипедов,
Из книги ты шагнул в тюрьму
И затерялся здесь бесследно.
В литературной кутерьме

Тебя забыли. Геньчик Стратов,
Я чуял твой ночной кошмар,
Твои недюжинные страсти,
Твоих душителей кошму.

Народ «Фортеции» вонючей
Забыл магический кристалл.

Майор Блажной, всесильный дуче,
Забил священные кресты.

И вдруг пропала крытки грыжа,
Замки упали, ветер проник,
Внезапно испарилась стража,
И вместе с ней исчез порок.

Что это? Чудо? Озаренье?
Стихий души девятый вал?
А может, к нам, слепцам за-зренья,
Из тьмы башки приблизился Святой Овал?

Тот, кого и не ждали?
Без надежды?
Тари-вари-нари, пошли на причал!
Тари-вари-нари,
Помните, невежды,
Сальвадора Дали?
Тари-вари-нари, вот оригинал!
Он чувствовал, что близится Овал!
Овал! Овал! Овал!
Ведь он к нам шел сто тысяч концов
И сто тысяч начал!
И вот не подкачал!
Овал! Овал! Овал!

Едва ли не все чудом освобожденные подхватили припев
и синкопы Саши, и все, уже без всяких «едва ли», подня-
ли глаза к небесам.

При отлете из Москвы в Биарриц Окселотлу зака-
зывают экспромт.

ЭКСПРОМТ. ПОДРАЖАНИЕ ВАСЕ КАМЕНСКОМУ

В полете на аэростате
Свободу свою замерь.
Да здравствует Узник Стратов,
Редчайший из всех «земель»!

И так далее в духе «колумбов далеких сфер».

Едва мы успели опорожнить бокалы с «Клико», как из кокпита вышел пилот. Он сказал, что мы пересекли западную границу братской Белоруссии и теперь углубляемся в пространства небратской Польши.

Странствуя по Интернету в поисках материалов по редким землям, мы с другом Маевским обнаружили удивительный факт литературы. Оказывается, последний поэт-футурист Семен Кирсанов еще в 1950-е годы был увлечен элементами, которые активно заполняли пустые квадраты Таблицы Менделеева. Вот его стихи.

«О, мое новое "нео"! Мое озаренье мгновенное — небо необыкновенное! Так у речи на дне мне, как капитану Немо, открылись подробности будущих слов и их необъятнейшие невозможности...»

Воображение
Мне нашептало:
«Здесь — цель разведки!
Крупинки серые
ЛАНТАНА,
ЦЕРИЯ...
Названья
странные

металлов
редких —
ЛЮТЕЦИЙ,
СТРОНЦИЙ...
Слова,
звучащие
подземно,
дивно.
И мысль
Кипящая
Меня ошпарила:
Радиоактивност
ь!

Окселотл находит в своем архиве балладу, написанную в честь майора Вовкова.

ПРОВОДЫ ГЕРОЯ

Я знал почтенного майора,
Он был искусник, а не лох.
Считал себя слугой Минервы,
Имел художественный нюх.

Он патрулировал кварталы
Вокруг метро «Аэропорт»,
Вынюхивая к(а)вартиры,
Определяя запах спор

Враждебных книг и мысли вздорной,
И тотчас посылал доклад,
Что за химчисткой вдоль забора
Зарыт антисоветский клад,

Что тянет дух «Архипелага»
С седьмого, скажем, этажа;
Там тщится гадкая Гаага
Нам трибуналом угрожать.

«Зияющих высот» скрижали
Разят швейцарским бланманже;
Недаром зубы скрежетали
У политических бомжей.

От Галича хоть в рощу драпай,
Он перцем песни насыщал.
Им возмущался сам Андропов
С повадкой старого сына.

Попахивал Живаго-доктор
Свежатиной далеких лет.
Каков хитрец, прикинул дока,
Спустить бы гаврика под лед.

«Руслан», конечно, пахнет псиной,
А Чонкин, враг армейских сфер,
Распространяет под осиной
Портянки крепкий камамбер.

Короче, весь квартал крамольный
Услышит ночью стук подков,
С задором пылким комсомольским
Воображал майор Вовков.

Пропустим весь квартал сквозь сито,
Устроим обысков самум!
По запаху я чую титул
И направлений хитрый ум.

Вдруг некий аромат невнятный
Достиг трепещущих ноздрей.
Что это — борщ с еврейской мятой
Иль пицца в шапке пузырярей?

Наследие Абрама Терца?
Тургеневский презренный «Дым»?
Звонарь заморский некто Герцен?
Или тлетворный «Остров Крым»?

Он сунул нос борщу под крышку,
Но пряностей удар тяжел!
Прощай, набоковская крошка,
Шепнул он из последних жил.

Вот так погиб герой отчизны.
Лежит под тяжестью венков
Вдали от жизни этой грязной
Майор спецрозыска Вовков.

Вот так с помощью рифмовки была обнаружена подлинная фамилия незадачливого борца за чистоту идеологии. И главное, никого не обвинишь, ни на какого диссидента не навесишь: сам задохнулся под крышкой супа с книгой, это все знают. Что делать, таковы непримиримые законы существования всех форм белковых тел: и наши герои уходят, и ихенные. И мы все уходим, те, которые подобные мудрости изрекаем. Одни завещают распепелить пепел над Норд-Зее, другие предпочитают гнить. И никому не пожалуешься, ибо конечная инстанция нам неизвестна, потому что у нее нет конца. Эти мысли начинают одолевать, когда завершаешь роман. Конечность мучает всех — персону любого возраста, вашего осла, даже, быть может, «дорогой многоуважаемый

шкаф». В вооруженном отряде партии недаром, очевидно, практиковалась многоименность: хотелось и самим размножиться. Иначе зачем в тоталитарном обществе борзописцы прятались за псевдонимы?

Окселотл вовлечен в череду юбилеев. Он пишет эпистолы друзьям-юбилярам.

Любопытные сдвиги происходят при юбилеях творческих личностей. Живешь-живешь — и вдруг осознаешь, что друзья веселой молодости приближаются к семидесятилетию. Ты пишешь эпистолу дружбану-прозаику, зачинщику всей молодой плеяды, прогремевшему в двадцать лет, за что и был прозван «нашей Франсуазой Саган».

Куда нас, Толя, закатили
Литературные года:
От «Юности», где всплыл Гладилин,
До «Ожидания Годо»?

Я вспоминаю, Анатолий,
Как легок был ты на подъем:
Не съев и пуда ржавой соли,
Ты напевал «Мадам, мадам!»

Ты вечно к бабам шел с ватагой —
Кричали бабы «Караул!»
И с этой шуткой, словно с флагом,
Прошел весь «бабий карнавал».

Однажды наш дуэт в пинг-понге
Сломил ретивый комсомол,
На семинаре близ Паланги
Двух их атлетов искромсал.

Спустя сто лет в Луизиане,
Где по соседству Эльсинор,
Два эмигрантских партизана,
Твой друг Базиль и ты, синьор,

Клеветники и супостаты,
Сражались среди идейных жал;
Тут с возгласом «Привет, ребята!»
Посол советский пробежал.

Он был партнером по пинг-понгу
И флюгером идейных туч,
И ты сказал ему вдогонку:
«Советский замысел летуч!»

Себя с тобою вспоминаю.
Гудим ватагой в ЦЭДЭЭЛ,
И, как всегда, Михал Минаич
Корит мовистскую артель.

Мне нравятся твои герои:
Подгурский, юный байронит,
С лукавым смыслом, с дерзкой бровью
Опровергает районо.

Твой Робеспьер спешит к засаде,
И грезит мрачный Шлиссельбург,
И тенью твой мятежный всадник
Летит среди любовных бурь.

Лети и ты, будь дерзко молод,
Четырежды счастливый дед,
И приглашай звериный голод
На свой полуночный обед.

Ночное празднество, дружище,
Пускай пройдет под пенье арф,
Шампанского пролей на брыжжи
И будь, как прежде, star at heart!

Или вот еще одна эпистола, на этот раз другу-музыканту, полсотни с чем-то лет назад вошедшему с инструментом, чтобы начать свой непрекращающийся свинг.

Средь верноподданных сердец
КПСС назло
Возник таинственный юнец,
Саксофонист Козлов.

В прикиде ультраштатском он блуждал,
Столицы грешный сын,
Не-джазовое все не уважал
И так нашел свой свинг.

По сути дела этот свинг свистал
Под пятым слева ребром,
Козлова скромный новосел,
Замученный рублем.

Космической любви росток,
Последний среднерусский могикан,
Он мог играть часов по сто,
Как Джерри Маллиган.

Шестидесятых лет разброд
Возрос, как баобаба.
Козлов играл среди тех борозд
Свой фирменный бибоп.

Не убоявшись русских стуж,
В тропический экстаз
Врубается он, ух ты, стилем фьюжн
Под струнных перепляс.

Мыслитель, чей творец Роден,
Он охраняет свой творческий фланг,
Лишь пальцы мечутся ордой,
Впадая в бурный фанк.

Вот так, идя от стиля *cool*
В горячий христианский рок-н-ролл,
Козлов тащил упреков куль
И мощный «Арсенал».

Какой итог мы видим щас
Сквозь слепоту всевозможных призм?
Ликует наш козловский джаз,
Он опроверг марксизм.

Твой юбилей, мой друг, не кругл,
В трех острых его углах живет пчела.
Ты в юности играл свой *cool*,
Так страстью старости теперь пылай!

Роман неожиданно завершается основательной коллекцией небольших стихов, каждый из которых посвящен редкоземельному элементу: иттрию, лантану, церию, самарию, неодиму, тербию, гадолинию, европию, диспрозию, скандию, гольмию, празеодиму, эрбию, тулию, прометию и, наконец, лютецию.

Так уже не раз случилось в моей практике сочинительства романов. Не только характеры показывают

свой нрав, противится и композиция. Роман разваливается и тем самым свершается. «Редкие земли» обретают ритм и поэтический слог.

Вблизи селенья Иттерби
Ученый шведский Карл
В озерах камни теребил,
Кораллов он не крал.

Там проявился хитрый Иттрий,
Сей тугоплавкий элемент.
Ракеты, что твои осетры,
Несут свои крутые бедра
И возжигают страсть комет.

Чу, тайные шаги Лантана...
Крадется пестрый, как султан,
Могучий, как нога атланта,
Со стрижкой модного шатена,
Торит он тропку на Алтай.

Когда тебя назвали Церий,
Не знали, что преломишь свет,
И в химии, как в мире целом,
Возникнет ультрафиолет.
Ты видишь зерна? Хохочет ёрник,
И Цельсий прыгает, как в цирке,
А слышится дуэт на цитрах,
И в парке цитрусы трясут.
Ташитесь по дорогам торным,
Где путник шел в венке из терний
И мыслил по бокам тростник.

Там плебс вопил, как воют звери,
Как скрытые в хеджабах стервы...
Где тот пророк, в кого я верю?
Но перли сквозь трясины вебри...
Так и назрел бы гнусный чирий,
Когда б не Церий.

* * *

Нам нравится магнит Самарий,
А также славный Неодим,
И если их возьмем суммарно,
Они притянут к нам амуров,
Хватать их будут наобум.

* * *

Сквозь атмосферу жаждет Тербий
Усилить свой люминофор,
Как замечательность верлибра
Усиливает древний хор.
И всё проносится, как зебры,
И стонет, как под вихрем вербы,
А под мостом ревет отребье
И жрет хрящи и кости рыбы,
А нищий убегает с торбой,
И на потребу всяким ордам
Отменные саперы-сербы
Толкают задницей мотор.

* * *

В тот день заладил адский ливень,
Но сквозь прозрачайший рентген
Предстал пред нами Гадолиний,
Как будто прибыли в Рангун.
Пред нами восемь «га» долины,
Муссон и вихрь, потоп минут.

Там проплывают на гондоле
Туда, где стонет минуэт,
К дворцу имперскому Елены.
Мечтает всяк: альков для лени
Ему в палаццо отведут,
Где будет Гадолиний вздут.

* * *

Он ускользал от нас, Европий,
Пускался в хитрые финты.
Понадобились шурупы
Его к Таблице привинтить.
Теперь сидим и пьем сиропы
И поглощаем дёжэне:
Химический бифштекс с укропом
И сплав с сибирским бланманже.

* * *

«Да кто этот ваш пресловутый Диспрозий?» —
Спросил на бегу торопливый прозаик.
«Какие вы все, журналисты, занозы» —
Ответил агент, суетливый, как заяц.

* * *

Он редкостный, но также сходный
С любой землей, балтийский Скандий,
И высится он, словно Анды
Над плоскогорьем этим гадским,
Где правит Кадмий.

* * *

Хотите, назовите Гольмий
И съешьте с солью.
Он вам придаст изящность пальмы,
И в теплый вечер в Стокгольме старом

Стен Гетц нас проведет по барам
Своим бемодем.

* * *

Если возьмете вы Празеодим,
Свяжете с Эрбием подшофе,
Тут же ударитесь в праздные оды,
Тулий завалится к ночи в кафе.
Тулий гуляка
С изящнейшей талией,
Эрбий возвышенный,
Весь в серебре.
Дверь открывает
Прометий-романтик
И Празеодим
С бесом в ребре.
Urbi et orbi, земель волонтеры,
Все вдохновенны и кое-кто пьян,
Вот перед вами бойцы и фрондеры,
Три мушкетера
И Д'Артаньян.

* * *

Из редких редчайший, Лютеций,
В толпе элементов и сплавов
Встречаешься ты, как литовец
В толпе мусульманских арабов.
Вот лето приходит, и с лекций
Студенты бегут, словно плутни,
И тучи вскипают, как клецки,
Под пенье божественной лютни.
Ты мчишься, как клубень летучий,
Не хочешь в глуши приютиться,
Летишь ты в просторах, Лютеций,
Моя одинокая птица.

Содержание

- 5 Ловушки рифмы
11 «Хотите бифштекс из сердца?...»
15 «Я бью ломом в старую стену, которая
 никому не нужна...»
19 «Я люблю капитализма пароксизмы,
 катаклизмы...»
22 «И вот увидел он богатые палаты...»
31 «Я разобью театрик без рампы и кулис...»
41 «В ту ночь на Невском возле газировки
 мы кантовались...»
77 «Ты подбегаешь ко мне по осенним
 сумеркам...»
104 «Какой же русский, спросим мы,
 не любит “Жигулей” с похмелья...»
117 «Знаете, бойз, где мухи дохнут от скуки?»
121 «Гудит стальной левиафан...»
126 «Люблю в Москве поднять самум,
 друзьям устроить переключку...»
131 «Тучи в голубом»
146 «Мы проходим по дну, перед нами фантомы
 и миги...»
175 «Ну вот — отшутовался»
201 «...Эй, друзья, время пришло!
 Сбрасывай крышу и — повело!»
204 «Три ноты есть, все остальное —
 сплошной сумбур...»
260 «Где мой град, где мой трон,
 где заветный сундук...»
269 «Главная баба — это Москва.
 Пьяные нянчит глюки...»
279 «Все для тебя несложно, куда ты солдат!»
283 «Прощай, наследственность метафор,
 сравнимая с блаженным сном»

Василий
АКСЕНОВ

край
недоступных
физическим

Литературно-
художественное
издание

Редактор Е.Д.Шубина
Младший редактор А.С.Прохорова
Художественный редактор Т.Н.Костерина
Технолог С.С.Басипова
Оператор компьютерной верстки М.Е.Басипова
Компьютерная верстка переплета В.М.Драновский
Корректоры Н.В.Семенова, Л.Ф.Уланова

Подписано в печать 15. 03. 2007
Формат 84x108/32
Тираж 7000 экз.
Заказ №4120

ЗАО «Издательство «Вагриус»
107076, Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2.

Отдел реализации издательства:
(495) 510-56-09, 510-56-10
Электронная почта:
vagrius@vagrius.com

Отпечатано в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати»
432980 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14

163-80



«...Я то и дело испытываю желание выйти за границы жанра. Если в романном развитии возникает торможение, я обращаюсь к стиху, ухожу к поэтическому взволнованному бормотанию, камланию или даже распевке... Я призвал бы читателя не впадать в «звериную серьезность». Старый сочинитель не жаждет поэтических лавров; просто «лета к суровой рифме клонят».

Василий АКСЕНОВ

ISBN 978-5-9697-0401-5



9 785969 704015



ВАГРИУС

край недоступных фудзямт